Александр Герцен

Его жизнь и литературная деятельность

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Е. А. Соловьев (В. Д. Смирнов)
  - От автора
  - Вместо предисловия
  - Глава I. Детство, отрочество, юность
  - Глава II. Как учился Герцен
  - Глава III. Дружба с Огаревым
  - Глава IV. Университет
  - Глава V. После университета
  - Глава VI. Владимир на Клязьме
  - Глава VII. Москва. Петербург. Новгород
  - Глава VIII. Литературная деятельность А.И. Герцена
  - Глава IX. За границей
  - Глава X. Герцен и Россия
  - Глава XI. Последние годы
  - Глава XII. Заключение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41

Е. А. Соловьев (В. Д. Смирнов)
Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк
С портретом Герцена, гравированным в Лейпциге Геданом

От автора

Мой очерк посвящен жизни Герцена, его биографии.

Лучшая биография Герцена написана им самим. К «Былому и думам» мало что можно прибавить.

Но и кроме «Былого и дум» почти все произведения Герцена носят биографический характер. Настоящий герой Герцена – он сам, жизнь его собственного духа и сердца.

Я ограничился лишь некоторыми извлечениями и связью между ними.

Поэтому все хорошее в этой книге принадлежит самому Герцену, недостатки – мне.

Отчасти помогли моей работе: 1) воспоминания *Т. П.Пассек*; 2) работа г-на *Батуринского*«А. И. Герцен, его друзья-знакомые»; 3) статьи о Герцене *А. М. Скабичевского.*

Вместо предисловия

Освобождение крестьян по манифесту 19 февраля 1861 года стало для наших отцов призывом к полному обновлению жизни и прощанием со всем старым, что тревожило, мучило и возбуждало отвращение и даже ненависть. Манифест был прочитан по всей стране в самой торжественной обстановке, при звоне колоколов, священниками в полном облачении, и крепостная Россия исчезла с лица земли: пока она переводилась в разряд «временнообязанных». Во многих и многих местах народ праздновал, но в сущности это был праздник не серой мужицкой России, а главным образом интеллигенции, которая увидела в манифесте свою победу и прочла в нем призыв к политической жизни.

На первых порах она даже не спрашивала себя, так ли это, и с юношеской непосредственностью предавалась восторгу и ликованию, не чувствуя и не понимая, что и так уже зашла слишком далеко и что скоро ей придется вернуться назад и опять приняться за мирные и неслышные дела так называемых свободных профессий или переполнять собою департаменты. Теперь мы понимаем, что иначе и быть не могло, что интеллигенция не имела под собой почвы, что десяток людей и два-три кружка, которыми она гордилась в прошлой своей истории, значили мало, вернее, не значили почти ничего перед громадой окружающей жизни. Но тогда, особенно в первую минуту, ничего этого не было видно, а немногие скептические голоса терялись в общем шуме восторгов.

Конечно, для нас манифест 19 февраля не может иметь того интереса, значения, обаяния, наконец, которые он имел сорок с лишком лет тому назад. Мы плохо знаем его содержание и смотрим на него просто как на исторический документ…

Мы ясно видим, что манифест 19 февраля был уступкой старого новому, мерой, как бы упускавшей из виду, что население возрастает и будет возрастать изо дня в день, и поэтому-то наше отношение к нему не имеет и не может иметь ничего общего с отношением людей, для которых он, несомненно, был осуществлением давнишних желаний.

На самом деле с известной точки зрения манифест был торжеством и победой. Он завершил громадный период умственного и экономического развития России, и завершил его честно, хорошо, прогрессивно. Для его порождения удивительным образом соединились и всемогущество императорской власти, и вековое воздействие Европы, и работа интеллигентной мысли за

целое столетие, и задолженность дворянских имений, и неясное волнение народной массы, искавшей вольности то в сектантских учениях, то в диких расправах над помещиками. Несмотря на неполноту, манифест – удивительно жизненный документ; в его сухих статьях и параграфах опытный взгляд историка найдет резюмированную работу четырех поколений, резюмированную сухо и сдержанно, но все же с сознанием важности и громадности предпринятого дела.

Манифест в той форме, в какой он нам известен, составлен и редактирован в петербургских канцеляриях. Все характерные особенности такого источника отпечатлелись в нем. Вы видите в каждой строке, как сознание невозможности не дать кое-что борется с опасением дать слишком много. Отсюда эти постоянные оговорки, ограничения, эти вечные «но»; отсюда, наконец, это превращение – как замечено выше – крепостной России не в свободную, а во «временнообязанную». Историческая неустанная работа целого столетия была осмыслена в канцеляриях несколько своеобразно. Сравните наказ императрицы Екатерины II и манифест 19 февраля. В первом не говорится ничего об освобождении крепостных, только намекается на это, и все же наказ – это утопия как для 1861 года, так и для нашего времени. За вечными оговорками и «но», за сухими статьями трудно рассмотреть страстные мечты лучших интеллигентов. Но это может быть сделано и когда-нибудь будет сделано во всей полноте и яркости.

Уже у Радищева мы находим в зародыше и отрицание прелестей нашего самобытного существования, и преклонение перед цивилизацией Европы. Вместе с тем его знаменитая книга, погубившая автора, исполнена состраданием к народу, мечтами о грядущей свободе. Радищев как бы предугадал и Чаадаева, и будущих западников; Шешковский был формально прав, упрекая его за нелюбовь к отечеству: «официальной» любви у Радищева на самом деле не было.

При Александре I интеллигентность и признание крепостничества законным, необходимым, незыблемым становились со дня на день все более несовместимыми. Это лучше всего проявилось в движении декабристов, увлекшем весь цвет нашего немногочисленного европейски образованного класса. Большинство декабристов – люди молодые, богатые, знатные, выросшие на революционной западной литературе, несомненно честные – не принимали близко к сердцу вопроса о конституции и формах правления вообще. Но рабство, эти вечные розги и палки, эта страшная Сибирь, куда люди ссылались по усмотрению помещиков, иногда просто за то, что они стали

стары, слепы, глухи и, следовательно, их пришлось бы кормить, – вот что тревожило молодые и честные души, вот что возмущало их. Они погибли, как погиб и Радищев, как погибает всякий, кто на пятьдесят лет опередил свое время и не счел нужным затаить это в своей душе. В ту же александровскую эпоху жил Пушкин. Крепостничество, собственно, интересовало его очень мало, но он все же написал свой «Анчар», свою «Деревню», все же спрашивал в грустном раздумье:

Увижу ли, друзья, народ освобожденный
И рабство, падшее по манию царя?
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец свободная заря?

Приходится миновать тридцатые годы. Это годы романтических мечтаний, душевных гроз, тоскливой неудовлетворенности – словом, годы Лермонтова, Печориных, Чаадаевых, или проклинавших все, или одну Россию во имя величия Европы. На сцене действовали обреченные люди, искренне страдавшие, искренне мучившиеся. Один за другим гибли лучшие из них: Лермонтов – от пули, Полежаев – от водки… Чацкие были повсюду, они бросали в лицо обществу, которое презирали, «стих, облитый горечью и злостью», но чувствовали, как бесполезно все, что они делают, как бессмысленна и бесполезна вся жизнь их. Это – герои безвременья.

Но уже в сороковых годах мы находим идею созревшей вполне. Она как бы прошла через огненное крещение романтическим недовольством и лермонтовскими проклятиями. Она выросла и окрепла под ферулой немецкой идеалистической философии Шеллинга и Гегеля и как бы «определилась» после грозных, но не всегда ясных проклятий Лермонтова. С этой поры она знает уже, чего хочет и ищет. Печорины исчезают из жизни, но исчезают не под ударами насмешки, а просто потому, что их время прошло, что им нечего стало делать. Их можно помянуть добрым словом: они исполнили предназначенное им судьбой, хотя это исполнение стоило им жизни. Люди сороковых годов сменили романтиков тридцатых. На сцене, правда, фигурирует то же поколение, но оно стало думать и чувствовать уже по-другому. Белинский, сам переживший этот переворот, рассказал нам о нем в своей статье о «Герое нашего времени».

«Дух его созрел для новых чувств и дум, – пишет он о Печорине, подразумевая одновременно свой век и самого себя, – сердце требует новой привязанности: действительность – вот

сущность и характер всего этого нового. Он готов для него».

Но что же это за действительность? Ведь не окружающая же жизнь, не крепостное право, не канцелярская служба. Все это было и раньше. Под действительностью Белинский понимает здесь какую-нибудь дорогую для сердца и полезную для жизни задачу, «святое дело», как выражались тогда. И оно нашлось, вернее же – возродилось. Дело это – то же освобождение крестьян – возникло из жажды облегчить жизнь обездоленному и стало центром интеллигентной работы уже надолго – с небольшим перерывом на целых двадцать лет. Интеллигентные кружки сразу, резко – как это возможно только у нас – меняют свою физиономию. Шеллинг забыт, Гегель по-прежнему считается божеством, но это уже другой Гегель, и выводы, которые делаются из него, совсем иные. Судьба как бы пожалела «бедную русскую мысль», метавшуюся из угла в угол, готовую преклониться в лице Чаадаева перед католицизмом, а в лице Киреевского падавшую ниц перед воротами Оптиной пустыни, и нашла для нее лекарства.

Ведь Печорины, как и все романтики тридцатых годов, ни за что не могли ясно и определенно ответить на вопрос, что же, собственно, так тревожит их, так мучает? Они просто чувствовали, что жизнь их «съедена» кем-то и сами они погибли ни за что, ни про что,

> Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
> Ни гением начатого труда…

Они просто беспокойно метались. Они переживали то переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, в котором есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут возникает то, что на простом языке называется и хандрой, и ипохондрией, и мнительностью, и самомнением – названия, далеко не выражающие сущности явления, – и что на языке философском определяется как *рефлексия.* В этом состоянии человек как бы распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только зародится в человеке какое-нибудь чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самом враг начинает подсматривать, анализировать, исследовать, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение и какова их цель, – и благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в

бесконечном, как солнечный луч в граненом хрустале, рука, поднятая для действия, как окаменелая, останавливается на взмахе и не ударяет. Ужасное состояние… Оно закончилось, как выше замечено, в сороковых годах, с переездом Белинского в Петербург, с образованием кружка Герцена, Грановского и других, с появлением романов Жорж Санд. Идея, повторяю, определилась и, если можно так выразиться, «вочеловечилась». Отчего, например, так понравилась Жорж Санд? «А потому, – отвечает Белинский, – что для нее не существуют ни аристократы, ни плебеи; для нее существует только человек, и она находит человека во всех сословиях, во всех слоях общества, любит его, сострадает ему, гордится им и плачет за него…» Повеяло любовью, человечностью, и с отвлеченной высоты немецкой идеалистической философии русская передовая мысль спрыгнула в действительность.

Это был страшный прыжок, прыжок гиганта. Надо удивляться здоровью, силе, живучести тех, кто рискнул на него и уцелел. А рискнули и уцелели многие: между ними первые Белинский и Герцен.

Изменилось все – настроение, взгляд. К земле притянули самое искусство и постарались привязать к ней крепким узлом. Когда-то знаменитый стих Пушкина, обращенный к поэту:

Ты – царь, живи один… —

казался уже смешным.

«Дух нашего времени таков, – читаем мы в статье 1843 года, – что величайшая творческая сила может только изумить на время, если она ограничивается „птичьим пением“, создает себе свой мир, не имеющий ничего общего с философскою и историческою действительностью современности, если она воображает, что земля недостойна ее, что ее место на облаках, что мирские страдания и надежды не должны смущать ее таинственных сновидений и поэтических созерцаний! *Свобода творчества легко согласуется со служением современности:* для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только *быть гражданином,* сыном своего отечества, своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отделяет убеждений от дела, сочинения от жизни».

Таких мыслей не было в тридцатые годы. Тогда они показались бы смешными, странными, ненужными. Печорин презрительно усмехнулся бы, слушая их, хотя, несомненно,

только в них было его спасение: они принесли бы неизмеримо больше пользы его усталой, надломленной душе, чем все поездки в Персию, чем все романы с Бэлами, Мери и так далее.

Умственные интересы изменились не менее резко. Оказалось уже недостаточным знать Гегеля или Шеллинга или цитировать наизусть Фейербаха. Впервые появляется преклонение перед естествознанием, и Герцен пишет свои «Письма об изучении природы». В петербургских журналах стали помещать статьи по вопросам политической экономии, естественнонаучные обозрения, описания новых эстетических теорий, и в то же время впервые была разъяснена русской публике позитивная философия Конта. Движение с каждым годом проникало и вдаль, и вглубь, но странно: несмотря на политико-экономические и естественнонаучные формулы, в которые оно облеклось, источником его было сердце. Что называется не осушив пера, Герцен после «Писем» принимается за «Сороку-воровку» – этот резкий памфлет против крепостничества; вскоре затем появляются первые очерки «Записок охотника» Тургенева, удивительно соответствовавшая духу времени повесть Григоровича «Антон-Горемыка». С этой минуты на знамени русской мысли красуется крупно и отчетливо написанное слово: «народничество».

«Проповедь, – пишет Герцен, – шла все сильнее… все одна проповедь, – и смех, и плач, и книга, и речь, и Гоголь, и история – все звало людей к сознанию своего положения, к ужасу перед крепостным правом; все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума…» И, повторяю, источником всего этого было проснувшееся сердце. Люди тосковали, рвались на простор; но они уже знали теперь, почему они тоскуют и чего хотят.

«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел… Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя; враг этот был – крепостничество».

Так рассказывает о том периоде своей жизни Тургенев. В то же время в кружке петрашевцев нервно и возбужденно читал Достоевский свою «Неточку Незванову» и страстно декламировал:

> Увижу ли, друзья, народ освобожденный
> И рабство, падшее по манию царя?…

Причин такой резкой, разительной перемены я пока объяснять не буду. Мне важно лишь указать на перелом и

напомнить читателю, с какой смелостью мысль его дедов от тоски и отчаяния тридцатых годов перешла к любви и вере.

Живой источник был найден, дверь в лучшее будущее чуть приотворилась, и люди вздохнули свободнее.

После 1848 года, под влиянием чисто внешнего давления, движение прерывается. Герцен оказывается за границей, петрашевцы идут в Сибирь искупать свои «грехи», Белинский умирает. Но мрачное семилетие 1848–1855 годов не может забить и заглушить всего. Это только отсрочка, болезненный, тяжелый кризис, после которого освобождение крестьян становится совершившимся фактом.

* * *

Было, значит, о чем вспомнить, было чему порадоваться. Ведь, в сущности, со времени Петра Великого и его знаменитого указа о рекрутской повинности, закабалившего всю Россию вплоть до 19 февраля, продолжалась одна грандиозная историческая эпоха нарастания и уплотнения государственного начала. Это нарастание происходило роковым, стихийным образом, и каждый год приносил свой камень, чтобы возвысить громадное здание.

Государственность *в старом смысле* слова и полное обезличение идут всегда рука об руку. Это два тождественных явления, из которых одно порождает другое, образуя, в конце концов, переплетение взаимодействующих сил. Старая государственность не признавала за человеком ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себе занятие. Он должен был отдать себя всего, без остатка, в службу. Его жизнь была предопределена заранее, она вся проходила по чужой воле. Лучший пример такого полного поглощения человека – это военная служба при Николае Павловиче, продолжавшаяся целых 25 лет, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человеку самому, когда мог он пожить для себя, поесть не из казенного котла, лечь и встать не по барабану, повернуться в ту сторону, в которую хочет, обзавестись своей семьей? Ничего и никогда. У нас – кратковременная повинность, в то время – поглощение человека.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, как Кальвин, объявляла, что для нее не существует людей, а только поступки. В Женеве ребенок, провинившийся в богохульстве, подвергался суровому наказанию. У нас дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшим за то, что он

думал иначе, чем следует, ввела бесконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человека; и горе тому, кто отступал от правила: наказание постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была везде: в канцеляриях и департаментах, в казармах и семьях. От крестьянина она требовала только труда (во имя чего, кстати заметить, многие помещики брали на себя руководительство половым отбором), от солдата – только службы, от чиновника – только исполнительности, от детей – только повиновения.

19 февраля нанесло страшный удар этой строгой, суровой системе. Манифест говорил, что человек может жить и для себя. Он давал крестьянину свое поле, свой труд, возможность лично устраивать свое благосостояние. Он разрешал ему любить по-своему, жаловаться от себя, заниматься чем хочет. Он давал ему самоуправление. Начались другие реформы – судебные, административные, военные. Общество дружно подхватило их и само ввело реформу в семье. Дети заявили, что они хотят жить по-своему и для себя. Родителям пришлось согласиться.

Все это делалось во имя личной свободы человека и было осуществлением одной части интеллигентных мечтаний. Но манифест пошел дальше: он не только освободил крестьян – он освободил их с *землею*.

Говоря об этом, Достоевский впадает в лиризм. Он считает освобождение крестьян с землею великим фактом XIX века и началом новой эры. Не увлекаясь до такой степени, можно, по нашему мнению, сказать, что это событие – следствие того положительного, реального течения русской мысли, которое сформировало шестидесятые годы и само окончательно сложилось в это время.

Я уже говорил, что сороковые годы необходимо рассматривать как период перелома в интеллигентном миросозерцании. Тогда отрешились от романтизма и от метафизических воззрений, тогда перешли к изучению политической экономии и естественных наук, тогда же резко изменилось само понятие свободы. Прежде, под влиянием Шиллера, Шеллинга, Гегеля, ее понимали главным образом как свободу мысли, свободу сознания. «Свобода внутри вас» – это говорилось, доказывалось, возводилось в догмат. Раз ты освободил себя в мысли, ты свободен и больше тебе желать нечего. Фраза Гегеля:

«Иметь сто гульденов и думать, что ты их имеешь, – то же самое» – не возбуждала ни насмешек, ни недоумевающего пожимания плечами. Это был один из догматов зарвавшейся философской мысли, совершенно оторванной от

действительности. И вдруг сенсимонизм, романы Жорж Санд, политическая экономия и естественные науки. Люди мучительно задумались над тем, что же такое свобода, которой они так страстно желали. Оказалось, что «иметь» и «думать» – не то же самое; что свобода сама по себе звук пустой; что, находясь внутри человека как самосознание, она должна опираться на что-нибудь внешнее; что нет права без возможности пользоваться им; нет свободы без возможности реализировать ее.

Это отчетливо доказал 1848 год. Конституции, которые лелеялись так долго, которые встречались с такими рукоплесканиями, летели в пропасть одна за другой, сопровождаемые свистом, шиканьем, проклятиями. А как хорошо расписаны были в них права человека, какие великолепные гарантии придуманы были юристами, как красиво звучали параграфы о свободных республиках, всеобщей подаче голосов, обязанностях правительств радеть прежде всего об общем благе, благе народов и подданных. И вдруг все рухнуло. Оказалось, что все это был один лишь мираж, декорации, которые исчезли немедленно, как только жизнь вступила в свои права. Правами и свободой воспользовались только те, кто имел эту возможность, а неимущие? Те по-прежнему влачили жалкое существование, не понимая, почему конституции так пышно распространяются о том, что они полноправны.

Итак, свобода не только в правах, в хартиях, в сознании. Ей нужна опора. Наш век ясно говорит, какая опора нужна ей. Это – экономический базис.

Манифест 19 февраля разрешил и этот вопрос, и разрешил его в смысле положительной философии и реального мышления. Он наделил свободного крестьянина землей. И это было на самом деле великим завоеванием жизни; быть может и правда, что это начало новой исторической эры.

Не все поняли указанную сторону манифеста. Но те, кто понял, приветствовали его еще больше, потому что

достигнутое было отчасти результатом и их трудов. Они работали над разрушением романтизма и идеализма, они всю жизнь проповедовали положительную философию, естествознание, политическую экономию, реализм.

В первом ряду среди этих деятелей стоит А. Герцен. Главная заслуга в том, что интеллигентная мысль сороковых годов получила новое направление, принадлежит ему.

Глава I. Детство, отрочество, юность

Александр Иванович Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года, за несколько месяцев до нашествия Наполеона. Он был внебрачным сыном родовитого русского барича Ивана Алексеевича Яковлева и молодой немки Луизы Ивановны Гааг, которую Яковлев увез из Штутгарта. Более странную обстановку, чем та, которая окружала Герцена в детские годы, трудно себе и представить. И старое барство, и русское самодурство, и немецкая кротость, и безалаберность крепостничества, и европейские замашки соединились вместе возле его колыбели сначала, возле его комнатки потом, чтобы создать один из самых разносторонних умов, которые только знает наше прошлое.

Его отец, Иван Алексеевич, вернувшись в Москву из-за границы, где он, скучая и зевая, провел целый год, нанял вместе с братом своим, сенатором Львом Алексеевичем, большой дом на Тверском бульваре. Решено было устроиться на заграничный манер – просто и недорого; но, как бы в насмешку над собственным проектом, братья немедленно завели целый батальон дворовой прислуги, евшей, пившей и скучавшей без всякой работы, пока какой-то изобретательный форейтор Филатка не задумал устраивать где-то на задворках петушиных боев. Цель жизни для дворни нашлась. Господам отыскать ее оказалось гораздо труднее, совершенно невозможно даже. К счастью, средства были громадные, крестьяне аккуратно вносили оброк, и хотя старосты воровали не менее аккуратно, все же оставалось слишком даже достаточно. Поэтому братья имели полную возможность устроиться каждый по-своему.

Старший – Лев Алексеевич, дядя Герцена – был по характеру человек добрый, любивший рассеяние. Он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, несмотря даже на то, что все события 1789–1815 годов не только прошли подле, но и непосредственно касались его. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвилю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он находился в Париже во время коронования Наполеона… Словом, он был свидетелем всех огромных происшествий последнего времени, но как-то странно: не так, как следует. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где не было двора; не зная законов и русского судопроизводства, он попал в Сенат и сделался членом опекунского совета; все должности

исполнял с рвением, которое только вредило, и с честностью, которой никто не замечал. Но он был неунывающий человек, вечно в хлопотах и разъездах. Застать его дома было совершенно немыслимо. Он заезжал к себе лишь для того, чтобы переодеться, справиться о здоровье племянника Шушки,[1] переменить лошадей и опять мчаться куда-нибудь по самому неотложному делу. Утром он ехал в Сенат, два раза в неделю на заседание в совет, столько же в больницу, в институт. Вечером навещал тетку-княжну или сестер, или являлся на французский спектакль, часто в средине пьесы, и уезжал, не дождавшись конца… Скучать ему было некогда: он всегда был занят, рассеян; он все ехал куда-нибудь, и жизнь его катилась легко; до 75-ти лет он был здоров, как молодой человек, являлся на все большие балы и обеды, на все торжественные собрания и годовые акты, все равно какие: агрономические, медицинские, страхового от огня общества, естествоиспытателей, археологов, – словом, куда угодно. Добродушная улыбка не сходила с его лица, оживленная речь не прекращалась ни на минуту: он постоянно рассказывал новости. Племянника баловал страшно.

Таков дядя – богатый, знатный, пустой, но милейший и добрейший человек, кость от кости и плоть от плоти когда-то веселой, добродушной, богатой Москвы. Не то был отец – Иван Алексеевич.

«Нельзя, – рассказывает о нем сам Герцен, – представить больше противоположного вечно движущемуся сангвиническому Сенатору, как его брата. Иван Алексеевич, вечно капризный, почти никогда не выходил со двора и ненавидел весь официальный мир. У него было тоже восемь лошадей (прескверных), но его конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч. Он держал их отчасти для того, чтобы два кучера и два форейтора имели какое-нибудь занятие, сверх хождения за „Московскими ведомостями“ и петушиных боев.

Иван Алексеевич редко бывал в хорошем расположении духа и постоянно был всем недоволен; человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил; светский человек accompli,[2] он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение от всех. Откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его? Разве он унес в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил, или это было просто следствие встречи двух культур до того противоположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей развитию

праздности. Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтобы выйти в «окно» гильотины. Наш век не производит больше этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызывало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада – русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме».

Все esprits forts,[3] волокиты с седыми волосами, неудачники родовой знати, ворчавшие постоянно на быстрые успехи по службе выходцев вроде Сперанского или Аракчеева и находившиеся в оппозиции, которая так же была нужна им, как обед в Английском клубе, принадлежали к этому кругу «московских законодателей», как их называли тогда. В них сильна была еще память о екатерининском времени с его безумною роскошью, фейерверками из государственных ассигнаций, величавыми одами Державина, торжественным настроением жизни, и они были недовольны тем, что все вокруг них становится уже, расчетливее, прижимистее, что место вельможи занял чиновник, покорный, исполнительный, вообще – человек «себе на уме». «Нет, прежнего не вернешь, – говорили они, – то ли в наше время». Для развлечения устраивали они «клубные» революции: сначала чествовали Багратиона, зная, что он не угоден при дворе, потом бранили Сперанского, отворачивались от Аракчеева.

Среди них Иван Алексеевич пользовался большим весом. Родовитость его была несомненна. Он вел свое происхождение от выходца из Пруссии, короля Вейдевута; состояние его, несмотря на безалабернейшее в мире управление поместьями, считалось сотнями тысяч; свою оппозицию всему официальному, пришлому он выказывал постоянно. В юности он служил в Измайловском полку, дослужился до капитана, бросил службу при восшествии на престол Павла Петровича, опасаясь, вероятно, неожиданной поездки в Сибирь, несколько лет разъезжал по Европе из одного города в другой, скучая и зевая, и наконец возвратился в Россию, чтобы скучать и зевать, но уже на одном месте и уже на всю

жизнь. На самом деле это был странный человек.

Людей он презирал откровенно, открыто, всех. Никогда не рассчитывал ни на кого и ни к кому не обращался со значительной просьбой, – он и сам ни для кого ничего не делал. В сношениях с посторонними требовал одного – сохранения приличий; les apparences, les convenances[4] составляли его нравственную религию. Он многое прощал или, лучше сказать, пропускал сквозь пальцы, но нарушение форм и приличий выводило его из себя: тут он терял всякую терпимость, малейшее снисхождение и сострадание. Он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное и если не делает, то или не имеет нужды, или случай не подходит. В нарушении же форм он видел личную обиду, неуважение к нему или «мещанское воспитание», которое, по его мнению, отлучало человека от всякого людского общества. «В жизни, – говорил он, – всего важнее l'esprit de conduite,[5] важнее превыспреннего ума и всякого учения. Везде уметь найтись, нигде не соваться вперед, со всеми чрезвычайная вежливость и ни с кем фамильярности». Он не любил никакой откровенности и называл ее не иначе, как ami-cochon'ством, всякое чувство казалось ему сентиментальностью, и он постоянно представлял из себя человека, стоявшего выше всех этих мелочей…

Не особенно крепкого здоровья, не могший поэтому ни кутить, ни распутничать, Иван Алексеевич вдался в другую крайность: он счел или притворился, что счел себя безнадежно больным. Его любимым чтением были медицинские книги, по крайней мере раскрытый лечебник всегда лежал на его письменном столе. Он беспрестанно лечился. Кроме домового доктора, к нему ездили два или три медика, и он делал по крайней мере три консилиума в год.

Это лечение забавляло и развлекало его. Кроме того, он с наслаждением пользовался всеми привилегиями безнадежно больного человека: принимал гостей в халате на белых мерлушках, говорил всем дерзости, выводил из терпения даже своего добродушнейшего из смертных брата-сенатора, никогда не отвечал на визиты и делал неприятности всем и каждому. Холодная беспощадная ирония, ирония человека, инстинктивно чувствующего, что его жизнь прошла ни к чему, в особенности отличала его. Взгляните на его лицо. Оно если не красиво, то родовито и внушительно. Длинный нос, круглые навыкат глаза с мутным, холодным выражением, которые как бы дали зарок nihil admirari (никогда и ничему не удивляться) и, что бы ни случилось, смотреть на все своим мутным, холодным, затаенно-насмешливым взглядом; тонкие губы, никогда не улыбавшиеся,

общее ледяное выражение, говорящее о непомерном самолюбии, о самом настойчивом эгоизме, – таков Иван Алексеевич на своем портрете. К чему ирония, над чем смеяться? – он не спрашивал себя об этом. В своей замкнутости ему приятно и удобно, как раковине в скорлупе. Это броня, защита от жизни, которая, очевидно, чем-то обидела его, чего-то не дала ему, и он, капризный, избалованный барин, ушел в себя, забросил куда-то ключ от своего сердца и знать ничего не хотел, кроме своих «конвенансов» и «аппарансов». Он любил одного только сына своего Шушку – маленького Герцена – и терпеть не мог другого, также внебрачного – Егора Ивановича. Что определяло его любовь и антипатию, сказать трудно, но чувство было искреннее, не без доли самоотречения, как увидим ниже, и тем более странное, что возлюбленный сын достался ему совершенно неожиданно.

Но как бы то ни было, Иван Алексеевич сразу и навсегда привязался к ребенку. Когда его спросили, какую дать фамилию новорожденному, он сказал – «Herzen» («Сын любви»). Он звал его не иначе, как Шушка, вплоть до того времени, пока у Герцена не появился свой собственный маленький Шушка.

Оберегая ребенка от простуды, он не выпускал его из комнаты целую зиму, а если дозволял прокатиться, то сверх шубы и теплой шали закутывал платками и шарфами. Предостерегая от расстройства желудка, держал на строгой диете. При малейшем насморке или кашле поднимались такие хлопоты и тревоги, что, глядя на них, ребенок воображал себя сильно больным и принимался блажить до того, что всех выводил из терпения. Сейчас являлся доктор, прописывал лекарства, которые давал ему по часам и непременно с точностью до одной секунды сам Иван Алексеевич. Если Шушка, закутанный в меха, одеяла и шарфы и лежа притом в страшно натопленной комнате, принимался колобродить и метаться, Иван Алексеевич садился подле него и старался его развлечь, давая ему ломать дорогие игрушки, – что, кстати сказать, Герцен в здоровом состоянии духа очень любил делать, – а если это не помогало, брал его на руки и ходил с ним по комнате, пока ребенок не успокаивался. Замечательно, между прочим, что чем больше беспокоил его сын, чем больше он капризничал, тем это больше нравилось Ивану Алексеевичу: в неудержимых капризах Шушки он как бы любовался собственной своей природой.

Кроме отца, ребенка баловали все окружающие без исключения. Заезжая раз пять в день домой, чтобы рассказать последнюю новость, Сенатор непременно привозил какую-нибудь дорогую игрушку и, полюбовавшись на то, как Шушка, обуреваемый жаждой исследования, немедленно же приводил ее

в груду обломков, опять исчезал на неизбежное заседание. Его камердинер Кало, настоящий тип старого слуги, отказавшийся даже от любимой девушки, когда узнал, что барин женатого держать при себе не будет, ухаживал за ребенком, как преданная нянька, и тешил его, напрягая при этом всю свою изобретательность. Шушка целые дни проводил в его комнате, куда скрывался от глаз отца или от излишнего ухаживания своих настоящих нянюшек, двух добрейших старух, вечно вязавших чулки, вечно ворчавших, – докучал ему, шалил; Кало выносил все, вырезывал своему любимцу разные чудеса из картонной бумаги или вытачивал из дерева забавные безделушки. По вечерам приносил из библиотеки книги с картинками и терпеливо показывал их. Шушка любовался, а особенно *понравившееся* немедленно вырывал и, скомкавши, бросал на пол.

Луиза Ивановна, мать, нежила сына меньше других, но не запрещала кричать, шуметь и шалить целые дни. Главные свои подвиги он и производил именно на ее половине, потому что отца все же побаивался. Он был так жив и резв, что пять минут не мог оставаться на одном месте без шума. Колотил, стучал, ломал – только трещали дорогие игрушки. По целым часам барабанил в барабан, расхаживая по комнате и не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Иногда останавливался у двери, начинал прыгать через порог с одной стороны на другую и пел на всю комнату краковяк. Для этой операции почему-то надевал всегда халатик из мерлушек и подпоясывался зеленым шелковым поясом отца с серебряной пряжкой. Раз он так надоел матери шумом и трескотней, что она стала строго останавливать его. Это было так неожиданно, что ребенок, пристально посмотревши на нее, вскрикнул: «Прощайте, умираю!» – бросился на пол, сложил руки крестом, закрыл глаза и долго оставался неподвижным, как ни уговаривали его подняться. «Я умер», – повторял он и отчаянно дрыгал ногами при малейшем прикосновении. К этому средству он стал прибегать при всяком замечании, и не подозревая, какой жестокий афронт готовит ему судьба. Однажды, когда он, заявивши о своей смерти, растянулся на полу, Луиза Ивановна закричала: «Подите сюда кто-нибудь! Саша умер: вынесите его и похороните…» Ребенок в одно мгновение вскочил на ноги: «Как, меня хоронить? Нет! Я умер, но пойду». С этими словами он исчез в соседней комнате и больше умирать не собирался.

Стоило только не попадаться на глаза отцу, который не мог утерпеть, чтобы при встрече не прочитать нотации, – и ребенок был совершенно свободен. Он носился по всему дому, был своим человеком в девичьей, в комнате Кало, на половине матери. Возможность делать все, что угодно, не стесняясь, рано внушила

ему мысль, что он центр мироздания.

Он рос один, не зная товарищества. Иногда, впрочем, к нему привозили его родственницу, Татьяну Петровну Пассек, тогда маленькую девочку, и они вскоре стали друзьями, на том, разумеется, условии, чтобы меньший друг, то есть Шушка, мог командовать и распоряжаться по своему усмотрению. Но постоянное одиночество не развило в нем ни меланхолии, ни созерцательности. Не «тихий нрав достался ему в наследство», а гордая, упрямая, энергичная, безмерно себялюбивая натура, живой подвижной характер, не выносивший ничего однообразного, даже в привязанностях.

Родственники Ивана Алексеевича, кроме Сенатора, видя безмерную избалованность Шушки, предрекали, что в нем не будет пути, а, основываясь на его тщедушности, ожидали, что чахотка скоро унесет его на тот свет, что по ряду соображений, связанных с наследством, было для них желательно.

Действительно, Герцен в детстве был ребенок худой, бледный, с редкими, длинными белокурыми волосами, с большими темно-серыми глазами, в которых порой блестела искра веселости и рано засветился ум. Несмотря на свою чрезмерную живость, он редко улыбался; шалил и шумел и даже ломал игрушки совершенно серьезно, как бы делая дело. Часто, бросив игрушки, он останавливал взгляд на одном предмете и точно вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположение к себе родных со стороны своего отца, несмотря на их наружное внимание, он и сам их не любил и старался избегать их присутствия. Родные, между прочим, не могли простить Ивану Алексеевичу, что он держит при себе незаконного сына и «немку», но сказать это в глаза, разумеется, не смели. Они знали, каким холодным взглядом обдал бы их при этом старый мизантроп и как сказал бы он своим ровным, без повышений и понижений, голосом: «Ах, матушка (или батюшка), если тебе не нравится, как я живу, то кто же просит тебя бывать у меня?…» Если бы ему слишком сильно надоедали, старик был бы способен, пожалуй, нарушив все «конвенансы» и «аппарансы», повенчаться с Луизой Ивановной – шаг, от которого он удерживался всю жизнь из-за какого-то барского упрямства. Быть может даже, ему просто нравилась эта открытая незаконная связь в пику и назло всем…

В Герцене рано появилась та особенная складка ума, которой впоследствии он был обязан значительной долей своей литературной известности. В воспоминаниях Пассек находим любопытную в этом отношении страницу.

«Раз, – говорит она, – когда Саше было лет одиннадцать или двенадцать, собралось у Ивана Алексеевича человек десять

почетных посетителей, в том числе был и Сенатор; все они уселись в зале около круглого стола, за которым Луиза Ивановна разливала чай; мы с Сашей поместились в этой же комнате за особым небольшим столом и, разложивши на нем огромную книгу в богатом переплете, с дворянскими гербами и родословными, стали ее рассматривать. Кто-то из посетителей, обратись к нам, спросил, какая это у нас книга. Саша, не задумавшись, ответил: „Зоология“. Я засмеялась, некоторые из гостей, из угождения Ивану Алексеевичу, одобрительно улыбнулись его остроте; но Иван Алексеевич не улыбнулся, а когда гости разъехались, задал нам такую гонку, что мы долго не забывали „Зоологию“. Меня распек, зачем поощряю Шушку к дерзостям, забавляясь его неуместными остротами, а его – как смел непочтительно выразиться о русском дворянстве, служившем отечеству, и заключил свою нотацию, обращаясь уже к одному Саше, словами:

– Ты не думай, любезный, чтобы я высоко ставил превыспренний ум и остроумие; не воображай, что очень утешит меня, если мне скажут вдруг: «Ваш Шушка сочинил „Чорт в тележке“; я на это отвечу: „Скажите Вере, чтобы вымыла его в корыте“.

Мы покатились со смеху.

Старик сделал вид, что не заметил этого, подошел к круглому столу, под которым спокойно лежал Макбет, крикнул человека и велел ему вывести собаку на двор. Потом, обратясь к нам, сказал: «В жизни esprit de conduite важнее превыспреннего ума и всякого учения…»

Старик читал нотации и был доволен. Откуда, как не от него, получил Герцен свой ум всегда настороже, свою беспощадную иронию? В этой подмене: «зоология» вместо «генеалогия», – заключается прообраз будущих всесокрушающих острот. В ребенке старик видел и узнавал самого себя: достойный представитель его рода являлся на смену уходившим на покой старикам, и представителем был его любимец Шушка, в котором энергия и способности били ключом. Другое время и другая обстановка, и Иван Алексеевич употребил бы, вероятно, свой тяжелый досуг на какие-нибудь злостные мемуары, где досталось бы по заслугам каждому. Но он не терпел русского языка и только брюзжал на нем: думал же и говорил всегда по-французски. Русская литература занимала его столько же; русских книг он не читал никогда и только раз, услышав, что сам государь интересуется «Историей» Карамзина, раскрыл первый том, перевернул несколько страниц, зевнул и положил книгу на место, чтобы больше не дотрагиваться до нее никогда.

Теперь еще несколько строк об обстановке детских лет Герцена.

«Прозевав несколько лет за границей, Иван Алексеевич и Сенатор хотели устроить жизнь на иностранный манер – без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь на иностранный манер не устраивалась, оттого ли, что не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками. Хозяйство было общее, имение нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж дома, все условия беспорядка были налицо. Пока Сенатор жил вместе с Иваном Алексеевичем, общей прислуги было человек до шестидесяти, кроме ребятишек, которых приучали к праздности, лени, лганью…»

И вот здесь, среди беспорядка, капризов, лени, лганья, праздности, обилия за чужой счет, прошли детские годы. Казалось бы, какие воспоминания могли оставить они, кроме самых безобразных и нелепых? А между тем сам Герцен помянул их добрым словом и рассказал о них нам с плохо скрытой любовью. Повинны в этом такие люди, как Кало, не знавшие, чем и как угодить возлюбленному барчуку, как нянюшка Вера Артамоновна, готовая сто раз повторять рассказ о двенадцатом годе, о том, как французы их всех ограбили; повинно самое детство – последнее убежище для воспоминаний, когда все уже потеряно и дальше нет ничего. Старые баре в этом отношении счастливее нас: они могут вспомянуть добром хотя бы свое детство.

«У Яковлевых, – рассказывает Пассек, – спать меня клали в комнате Луизы Ивановны, на небольшом диване; тут же стояла и кроватка Саши, обтянутая со всех сторон парусиной. Когда Вера Артамоновна, надевши на него ночную сорочку, укладывала его в кровать, тогда приходил Иван Алексеевич, держа во рту коротенькую трубочку, и, покуривши слегка в комнате, он смотрел, как обметывали на живую нитку по постели Саши покрывавшую его простыню, чтобы он ночью, раскинувшись, не простудился. Когда эта операция была окончена, Иван Алексеевич покрывал его белым байковым одеялом и, перекрестивши, уходил в свое отделение, осмотревши наперед, все ли в комнате в порядке. Так как Саше под приметанной простыней нельзя было ни вскакивать на постели, ни прыгать с нее, ни бегать, ни ломать игрушек, то, по удалении Ивана Алексеевича, у нас начинались продолжительные разговоры, предметы которых большею частью вертелись на одном и том же: на страшном, поражающем воображение до того, что самим становилось жутко. Любимым рассказом Саши были ужасы, слышанные им от m-me Прово о

масонах, при ложе которых ее муж занимал когда-то какую-то должность, и о французской революции, во время которой едва не повесили на фонаре ее почтенного сожителя. „Раз, – начинал обыкновенно Саша, смирно лежа зашитый в постели, – m-me Прово попала в комнату, где собирались масоны, когда там никого не было, и перепугалась так, что чуть не умерла со страха. Комната была вся обтянута черным сукном, посредине стоял стол, на столе крест, на кресте два кинжала, на них мертвая голова. На стенах висели портреты всех масонов в свете, и если в который-нибудь из портретов выстреливали, то где бы ни был тот человек, чей портрет был прострелен, тот в ту же минуту падал и умирал“. Слушая это, я дрожала от страха, и мне всюду мерещились и черная комната, и кинжалы, и портреты. „А вот еще, – говаривал Саша, – была во Франции революция, все шумели, кричали; кто не шумел и не кричал, тем рубили головы, народ бегал по улицам, все бил, ломал, потом прибежали во дворец и там все рубили и ломали, да надели себе на головы красные колпаки, запели песни и пошли вешать людей на фонарях, хотели повесить и m-eur Прово, – насилу спасла его Лизавета Ивановна…“

Рассказав эту малую историю французской революции, Шушка мирно засыпал в своей кроватке. И в самом деле, что могло беспокоить его? В доме он был маленьким владетельным принцем, все поклонялись ему, все слушались, все развивало в нем тот безмерный эгоизм, к которому он и так был склонен и по наследственности, и по громадности своих дарований. Правда, его окружало крепостничество, но не мог же ребенок постигнуть сути его. К тому же чего-нибудь особенно безобразно резкого он не видел, и не детство воспитало в нем ненависть к кабале, а другие, более поздние впечатления.

«Ни Сенатор, – рассказывает он, – ни Иван Алексеевич особенно не теснили дворовых, т. е. не теснили физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и поэтому нередко несправедлив, но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Иван Алексеевич докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно шпынял и учил, что для русского человека хуже побоев, – но ведь в таком положении находилась и вся семья».

Телесные наказания были почти неизвестны. Два-три случая, когда прибегли к посредству частного дома, были до того необыкновенны, что о них вся дворня говорила целый месяц. Часто отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей; лучше хотели отправиться на

конюшню, чем в полк. Увидя однажды плачущего рекрута, маленький Герцен подбежал к нему и спросил:

– Ведь ты не хочешь идти в солдаты?

– Не хочу…

– Как же тебя посылают, если ты не хочешь?

В этом вопросе, если хотите, программа всей будущей философии Герцена…

Бывали порою и прямо безобразные случаи, но безобразие их едва ли было доступно детскому пониманию. Я все же упомяну о них, потому что их смысл, их идейное содержание послужило впоследствии темой для полного драматизма рассказа «Сорока-воровка».

У Сенатора был повар, обученный на придворной кухне. Кулинарные дарования его были громадны и обращали на себя общее внимание любивших хорошо покушать москвичей. В конце концов он удостоился высшей для повара чести – был приглашен в Английский клуб. Положение его было, по-видимому, великолепно. Прекрасное жалованье, власть над бесчисленными поварятами, барская одежда и квартира – чего бы еще, кажется? Но бедняге в недобрую минуту захотелось быть свободным, и он предложил Сенатору выкуп, какой угодно. Сенатор отказал. «Зачем тебе свобода, – сказал он, – ты и так живешь как хочешь». Но тайную причину своего отказа он скрыл. Дело в том, что его самолюбию льстило иметь знаменитого повара. Когда он слышал похвалы ему, когда он видел, как объедаются гастрономы Английского клуба, он с гордостью думал: «А ведь это *мой* Алексей». Получив отказ, Алексей по обычному несчастному русскому рецепту стал пить, пропил все, утерял место и сам пропал быстро и невозвратно.

У того же Сенатора был молодой крепостной доктор, лечивший весь дом и удачно практиковавший на стороне. Как-то он влюбился в бедную дворянку, скрыл от нее свое сословное состояние и женился. Мирно прошло несколько лет, но на беду жена узнала как-то, что ее муж – крепостной, и разошлась с ним. Напрасно молил он о свободе… Он также запил и повесился…

Всего этого Герцен не видел и не понимал, хотя того, что он видел, было достаточно для первого толчка возмущенной совести…

* * *

Извиняюсь, что так долго описывал обстановку, окружавшую Герцена в его детские годы. Но думаю, что эта обстановка

сыграла в его жизни гораздо более важную роль, чем та, которую ей обыкновенно приписывают. Биографы-критики особенно словоохотливы, когда говорят о влиянии кружков, ссылки и так далее. Никто и не думает отрицать этого влияния, но нельзя забывать и о темпераменте, первые проявления которого и окончательное формирование относятся к детству. С некоторыми незначительными ограничениями можно, кажется, утверждать, что темперамент Герцена получен им прямо от отца. Иван Алексеевич возродился в сыне своем, но это возрождение, эта метемпсихоза были обновлением, улучшением и как бы очищением. В отце мы видим сильную наклонность к иронии, скептицизм, дошедший до отрицания всего, кроме «конвенансов», властолюбие, а главное, «капризность» характера. Можно ли отрицать в сыне те же черты? Правда, талант Герцена придал им другую окраску, осмыслил многое, что в старике являлось непосредственным и порою даже грубым проявлением натуры. Но сущность дела от этого нисколько не изменяется. Герцен ничему и никогда не мог отдаться целиком. Его капризный, прихотливый ум никогда не принадлежал ничему безусловно, а облюбовав какой-нибудь предмет или человека, начинал немедленно же «подкапываться» под него, отыскивать в нем недостатки и, увлекаясь этой работой, доходил в крайности своего увлечения до парадоксов. Поэтому и могут существовать о Герцене такие разнообразные мнения. Одни считают его «идеалистом тридцатых годов» (например, А.М. Скабичевский, Анненков), другие – чистым пессимистом (например, Н. Страхов). На основании сочинений Герцена можно доказать, и даже блестяще доказать, не только эти два утверждения, а еще десять им подобных. В богато и разнообразно одаренной натуре Герцена сочетались противоположные элементы. Он глубоко переживал все направления своей эпохи; во всякой сфере, куда бы он ни обращался, он сказал новое слово, но он не мог что-либо безусловно признать и чему-нибудь отдаться целиком, тем менее навсегда. Поэтому-то такие прямолинейные люди, как, например, Чернышевский, прямо-таки недолюбливали его и называли «баричем», поэтому никогда никакой определенной программы у Герцена не было. Возьмите его отношение к Европе. Он совершенно рассорился с ней и наговорил ей так много жестокой правды, как никто и никогда: ни в настоящем, ни в будущем европейских народов он не хотел видеть ровно ничего хорошего. Это уже крайность, излишняя взыскательность ума и натуры, которые требуют или всего, или ничего. Совершенно так же относился Иван Алексеевич к России и к самой жизни. Герцен поддался чувству обиды и не хотел даже видеть новых ростков,

которые давала европейская жизнь на его же глазах. То же вышло у него и с эмиграцией, от которой он как будто требовал чего-то идеального, а не найдя его, дошел до раздражения, почти до брани. Только на одно – на науку – он никогда не посягал, а как и почему это получилось, увидим ниже. Пока же довольно сказанного и довольно помнить, что темперамент Герцена был прямым отрицанием политической агитации, которая немыслима без фанатизма, что его глубокий, но капризный аристократический ум, его наклонность к созерцанию влекли его к художественной деятельности. Вытянуть миросозерцание Герцена в одну линию невозможно, и только одна черта проходит красною нитью через все его настроения. Эта черта – реализм, стремление к положительной мысли.

Переходим к рассказу. Совершенно естественно, что между отцом и сыном, несмотря на несомненную любовь первого и привязанность второго, столкновения были неизбежны как между двумя властолюбивыми, слишком близкими в своих крайностях натурами. Этими стычками можно было бы наполнить целые страницы, но я предпочитаю остановиться на одной – самой резкой и характерной.

Я уже упоминал, что Герцен был незаконнорожденным. Скрывали от него это очень долго, и лишь двенадцати лет узнал он правду, узнал совершенно случайно и, пожалуй, на горе себе. Мир исчез из детской души, неясные, но тревожные чувства зашевелились в ней. Что такое «незаконный», почему «незаконный», мальчик не знал, но в этом слове ему чуялось что-то тяжелое, гнетущее. Он стал раздражительнее и держал себя с этой поры настороже, особенно с родными отца. Он понял, что для них он совершенно чужой. Его стесняло порою даже пребывание в своем доме.

«Раз, – рассказывает Пассек, – при мне, во время обеда, проходившего во всеобщем молчании, Иван Алексеевич был в особенно язвительном настроении духа и, не находя предмета, на который приходилось бы кстати излить его, прикинулся несчастным, стал жаловаться на свою участь, недуги, беспомощность и сиротливость.

– И вот, – повершил он свои жалобы, на которые никто не отозвался ни одним словом, – вот живу совсем одинок, а, по-видимому, с семейством. Живет у меня барышня со своим сынком; воспитанник – наградила им сестрица-княгиня…

Александр не дал ему докончить этой речи. Вне себя, бледный, он встал из-за стола и дрожащим голосом сказал:

– Далее выносить ваших оскорблений я не могу позволить ни себе, ни моей матери. При вашем взгляде на наши отношения

между нами ничего не может быть общего. Позвольте нам сейчас же оставить ваш дом.

Старик был поражен и опомнился.

– Полно, помилуй, – заговорил он тихим, испуганным голосом, – что ты, зачем, я так, ты понимаешь, ты знаешь меня, успокойся…

– Вы нас притесняете, оскорбляете, – говорил Александр в сильном волнении, – упрекаете в чем… чья вина?… наша что ли? Нет, переносить эту унизительную жизнь далее нельзя… не должно… Боже мой!

– Полно, оставь, успокойся… прости меня, – сказал старик прерывающимся голосом и зарыдал.

Александр закрыл лицо руками.

Все страшно встревоженные встали из-за стола.

Старик, охая и сгорбившись вдвое против обыкновенного, увел Александра к себе в кабинет. Спустя час времени Саша вышел из кабинета мрачный, расстроенный. Иван Алексеевич смиренно лежал на диване, голова его была обвязана батистовым платком, намоченным одеколоном.

С этого времени старик сделался сдержаннее и с Сашей стал обращаться с некоторым уважением».

Этот горячий взрыв гордости, обиженного самолюбия хорошо показывает, как наболело на душе у Герцена от частых дум о его положении в доме. Быть может, эти же думы поставили его навсегда в противоречие с «приличным» обществом. Он недолюбливал его, не посещал никогда. Литераторы, ученые, изгнанники – вот его кружок с дней юности вплоть до самой смерти. Сделаться своим в гостиных титулованных родственников он не хотел и не мог: гордость мешала, не позволяло чувство собственного достоинства.

Глава II. Как учился Герцен

Иван Алексеевич нанял своему любимцу «француза Бушо из Меца, учить по-французски, и немца Эка из Сарепты – учить по-немецки». Не много замечательного в обоих педагогах, и Герцен в «Былом и думах» уделяет им всего несколько строк.

«Бушо, – рассказывает он, – был мужчина высокого роста, совершенно плешивый, кроме двух-трех пасм волос бесконечной длины на висках. Важность отпечатлевалась не только в каждом поступке его, но и в каждом движении. Он кланялся ногами, улыбался одной нижней губой, голова у него никогда не гнулась; ко всему этому французская физиономия конца прошлого века, с огромным носом, нависшими бровями, – одна из тех физиономий, которые можно видеть на хороших гравюрах, представляющих народные сцены времен федерации. Бушо уехал из Парижа в самый разгар революции, и, припоминая теперь его слова и лицо, можно думать, что citoyen Bouchot[6] не был праздным ни при взятии Бастилии, ни 10 августа. Он обо всем говорил с пренебрежением, кроме Меца и тамошней соборной церкви. О революции он почти никогда не говорил, но как-то грозно улыбался».

Все усилия Бушо заинтересовать своего непокорного ученика грамматикой, спряжениями и склонениями не приводили ни к чему. В минуту самого тонкого обсуждения вопроса о различии между тем и другим passé Герцен внезапно задавал вопрос: «А почему казнили Людовика XVI?», или еще более пикантный: «А почему вас не повесили на фонаре?» Бушо сердился, бранился и уходил наконец, опираясь на свою высокую суковатую палку.

Одинаково неудачно действовал и немец из Сарепты – Иван Иванович Эк.

«Иван Иванович, по преимуществу учитель музыки, был так же высок ростом, как и Бушо, но так тонок и гибок, что походил на развернутый английский фут, который на каждом дюйме гнется в обе стороны. Фрак у него был серенький, с перламутровыми пуговицами, панталоны черные, какой-то неопределенной, допотопной материи; они смиренно прятались в сапоги с кисточками; их выписывал Эк из Сарепты. Это было одно из тех тихих, кротких немецких существ, исполненных простоты сердечной, кротости и смирения, которые, неузнанные никем и счастливые в своем маленьком кружочке, живут, любят друг друга, играют на фортепиано и умирают так, как жили. Это лицо из реформации, из времен пуританизма во всей его чистоте».

С Иваном Ивановичем Герцен церемонился еще меньше, чем с

Бушо. По-немецки он и раньше говорил хорошо, а в надобности грамматики сомневался сильно.

Он становился внимательным лишь в те минуты, когда Эк читал ему Шиллера, но и тут беда: «Не успеет чувствительный немец раскрыть книгу, как сейчас расплачется и хлюпает так, точно ходит по луже».

Живость характера, скука преподавания мешали Герцену учиться. Ведь сколько нужно почтительности, смирения, подчас забитости, а больше всего дрессировки, чтобы изучать… хотя бы грамматику. Но ни одним из этих качеств, способствующих восприятию всех passé, предлогов и союзов, Герцен не обладал. Пытались воздействовать на его самолюбие, но и тут подошли, очевидно, не с той стороны, с какой следовало. Однажды Бушо, испробовав все средства, усадил за урок вместе с Герценом Т. Пассек. Девочка бойко отвечала на все вопросы, но ее приятель оставался невнимательным по-прежнему. Мало того, после урока, когда обнаружилось все его невежество, он проявил чрезмерную радость: «Знаешь, Таня, – сказал он, – Бушо хотел тебя срезать, да не удалось…»

Он учился сам. Рано начавши читать, он пристрастился к этому занятию. Доступ в библиотеку был совершенно свободен, за выбором книг не следил никто. Потребность в свободе, развлечениях и знаниях была удовлетворена.

Был, впрочем, один педагог, который сильно повлиял на молодого Герцена. Это – Иван Евдокимович Протопопов, преподаватель русской словесности, студент медицины. Волосы носил он ужасно длинные и, вероятно, никогда не чесал их по выходе из рязанской епархиальной семинарии; на иностранных словах ставил дикие, совершенно произвольные ударения, а французские щедро снабжал русским ъна конце. Но у него была теплая человеческая душа, и с ним с первым Герцен стал заниматься, хотя и не с самого начала. Пока изучалась грамматика, которая шла в корню, и география с арифметикой, которые бежали на пристяжке, Протопопов находил в своем ученике упорную лень и рассеянность, приводившую в удивление самого Бушо, не удивлявшегося вообще ничему, кроме соборной церкви в Меце. Побившись и едва не дойдя до отчаяния, Протопопов решился переменить одну пристяжку, закончил кое-как географию и принялся за историю по новому способу. Вместо того чтобы задавать в Шрекке до отметки ногтем, он рассказывал своими словами, *что* помнил и *как* помнил; Герцен должен был на другой день повторять ему, и также своими словами, благодаря чему историей он стал заниматься с величайшим прилежанием. Протопопов удивился и, утомленный ленью

ученика в грамматике, преспокойно отложил ее в сторону; вместо того чтобы разбираться в бесконечных спорах между *и *е,* ученик и учитель принялись за словесность.

«Но в чем, собственно, состояло преподавание словесности Ивана Евдокимовича, – вспоминает Герцен, – мудрено сказать; это было какое-то отрицательное преподавание. Принимаясь за риторику, он объявил мне, что она пустейшая ветвь из всех ветвей и сучков древа познания добра и зла, вовсе не нужная, ибо „кому Бог не дал способности красно говорить, того ни Квинтилиан, ни Цицерон не научат, а кому дал, тот родился с риторикой“. После такого введения он начал по порядку толковать о фигурах, метафорах, хриях. Потом он мне предписал diurna manu nocturnaque[7] переворачивать листы «образцовых сочинений» – гигантской хрестоматии томов в 12 – и прибавил для поощрения, что десять строк «Кавказского пленника» Пушкина лучше всех образцовых сочинений Муравьева, Капниста и пр. Несмотря на всю забавность отрицательного преподавания, в совокупности всего, что говорил Протопопов, проглядывал живой, широкий современный взгляд на литературу, который я умел усвоить и, как обыкновенно делают последователи, возвел в квадрат и куб все односторонности учителя. Прежде я читал с одинаковым удовольствием все, что попадалось: трагедии Сумарокова, сквернейшие переводы 80-х годов разных комедий и романов; теперь я стал выбирать, ценить. Протопопов был в восторге от новой литературы, и я, бравши книгу, справлялся тотчас, в котором году она напечатана, и бросал ее, ежели она была напечатана более пяти лет тому назад, хотя бы имя Державина и Карамзина предохраняло ее от такой дерзости. Зато поклонение юной литературе сделалось безусловно, и немудрено: великий Пушкин являлся властителем литературного движения».

Глава III. Дружба с Огаревым

Не помню, у кого вырвалось меланхолическое замечание: «Из двух друзей один всегда раб, другой – господин». Если что тут неверно, то разве слово «всегда», сама же по себе мысль глубока и в сущности справедлива.

Только греки умели быть равными в дружбе, оттого-то они и ставили это чувство выше любви.

Касторы и Поллуксы в наше время редкость. Отношений приятельских можно видеть довольно, случаются и товарищеские, но дружба в смысле полного единения или, как прежде выражались, «гармонии душ» заметно вымирает. Надо думать, что это слишком нежное для нашей действительности чувство и не может удержаться в атмосфере, где себялюбие на первом плане, где всякий ценит себя как-то уж слишком высоко. Как и для всего хорошего, для дружбы нужно известное самоотречение, своего рода широта сердечной жизни, нужны и интересы, которыми можно было бы вдохновляться сообща. Всего этого мало, слишком даже мало, и дружба вымирает. А жаль. В дружбе, хотя бы она длилась годы, есть всегда что-то юное, свежее: она не стареет, не изнашивается. «Это вечно цветущий бог Греции», – сказал когда-то Шиллер.

Герцен и Огарев были друзьями. Они сошлись детьми, и только смерть разлучила их. Но нетрудно угадать, какой характер носила их дружба и кто был господином. Герцен или не сходился с человеком, или подчинял его себе всего, целиком, навсегда.

О взаимоотношениях друзей, их общей работе мне придется говорить не раз. Эта глава посвящена лишь всходам дружбы.

От времени до времени Ивана Алексеевича навещал его дальний родственник, Платон Борисович Огарев. Иногда он приводил с собой своего сына, мальчика лет тринадцати, которого обыкновенно звали Ник. Кроткий, тихий, он во все время посещения сидел в гостиной на стуле и рассеянно смотрел на окружавшие предметы своими печальными глазами. Он был ровесником Герцена, и мальчики скоро сошлись, как настоящие идеалисты, за чтением Шиллера.

«Читая, мы были удивлены сходством наших вкусов. Те места, которые любил я, любил и Ник, которые знал наизусть я, – знал и Ник, только гораздо лучше меня. Непонятной силой влеклись мы друг к другу; сложили книги и стали высказывать друг другу свои мысли, чувства, стремления; стали высказывать самих себя. Все было общее…»

Не прошло и месяца, как Герцен привязался к Нику со всей

порывистостью своей горячей натуры и не мог прожить дня, чтобы или не повидаться с ним, или не написать письма. Ник любил его тихо и глубоко; его чувство теплилось, как лампада перед образом; Герцен, на первых порах по крайней мере, пылал костром.

«Мы были неразлучны; в каждом воспоминании того времени, общем и частном, везде на первом плане – он со своими отроческими чертами, со своею любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, на беду ли, на счастье ли – не знаю, но наверное на то, чтобы не быть в толпе».

Они любили, забравшись в дальнюю комнату, куда не проникал иронический взгляд отца, читать вместе Шиллера, говорить и думать вслух по целым часам. Иногда они ходили вместе за город, где у них были излюбленные места: поля за Драгомиловской заставой, Воробьевы горы. Отсюда любовались они широкой панорамой Москвы, лежавшей у их ног, ярким блеском золоченых куполов в лучах восходящего солнца; здесь читали наизусть свои излюбленные стихи. Раз они оставались на Воробьевых горах вплоть до сумерек; солнце закатывалось, потопляя в пурпуре громадный город. Они взбежали на место закладки храма Христа Спасителя, в восторге вдохновения взяли друг друга за руки и в виду Москвы дали клятву в дружбе и борьбе за истину. Огарев вспомнил потом эту минуту в стихах:

Они детьми встречались часто,
И будущность вдали светила им;
И создали они себе сон жизни золотой,
И поклялись младых сердец надежды
Осуществить урочною порой…

Осуществить урочною порой… Урочная пора не пришла… Пришлось сказать тому же Огареву на пороге могилы:

Да, сердце замерло!.. Быть может, даже нам
Иначе кончить бы почти что невозможно,
Так многое прошло по тощим суетам,
Успех был не велик, а жизнь прошла тревожно.
Но я не сетую на строгие дела,
Мне только силы жаль, что не достигла цели,
Иначе бы борьба победою была
И мы бы преданно надолго уцелели.

Что за натура был Огарев? Во имя чего он следовал за

Герценом, почти никому не известный, почти без славы, скрывая в сердце невыносимую тяготу личного горя? Во имя чего он, богач, роздал все и умер почти нищим? На эти вопросы мы должны ответить немедленно.

Огарев родился в богатой родовитой семье в 1813 году.

«До семи лет детство мое, – вспоминает он, – было, быть может, мило, но малоинтересно, так что и рассказывать не хочется… Время около 1820 г. было странное время, время общественной разладицы, которая подвигалась медленно и не знала, куда придет. Большинство еще торжествовало победу над французами, меньшинство начинало верить в возможность переворота и собирало силы… Себя я помню в это время ребенком в большом доме, в Москве, помню отца с двумя крестами, помню бабушку большого роста и бабушку маленького. Помню старуху-няню с повязанным на голове платком. Няня эта была при мне неотлучно, почти до моего десятилетнего возраста. Таким образом, все детство мое прошло на попечении женском. Няня меня любила, несмотря на то, что мужа ее отдали в солдаты за какой-то проступок против барских приказаний, а ее, как одинокую, приставили ко мне. Кроме няньки, был приставлен ко мне еще и старый дядька. Должность его состояла в том, чтобы забавлять меня игрушками и учить читать и писать. Ходил он всегда в сером фраке. Я считал дядьку своим лучшим другом за то, что он делал мне отличные игрушки. Несмотря на то, что он был крепостной человек, он был до того нравственен, что не сказал при мне ни одного грязного слова. Весь недостаток его состоял только в том, что временами, под вечер, дядька бывал в полпьяна, и тогда на него нападала страсть доказывать моему отцу, что меня воспитывают не так, как следует. Остановить старика не было возможности. Иногда случалось, что его настойчивые рассуждения заканчивались трагически. Дядька уходил опечаленный, а я дрожал от страха и негодования. Он вредил мне лишь одним, совокупно со всей окружавшей меня жизнью, – бессмысленным отношением к религии. В комнате моей стоял огромный киот с образами в золотых и серебряных ризах, перед которыми отец мой приходил каждый вечер молиться, как только меня укладывали спать. Одна из бабушек то и дело разъезжала по монастырям и задавала пышные обеды архиереям. С семилетнего возраста меня стали заставлять в великий пост говеть. Я слезно каялся в грехах, которые, разумеется, придумывал, и даже плакал от раскаяния в своих небывалых прегрешениях; каждое утро и каждый вечер бессознательно молился, клал земные поклоны перед киотом и усердно читал указанные молитвы по толстому молитвеннику,

ничего не понимая в них.

Так как это настроение было безотчетно и искусственно, то оно скоро и растаяло под влиянием чтения Вольтера и Байрона, как только мне дали их в руки, и мало-помалу увлекло в противоположную сторону. Когда мне было около тринадцати лет, доброго дядьку моего услали на житье в деревню, а ко мне приставили руководителя-немца, которого я возненавидел с первой минуты. Немец этот, небольшой ростом, тщедушный, рябой, плешивый, с золотистой накладкой на голове, считал себя неотразимо привлекательным; он был мне полезен только тем, что развил во мне физическую силу, и я под его надзором из болезненного мальчика вышел здоровым юношей. Помимо своей воли он имел, однако, сильное влияние на всю мою жизнь: он случайно сблизил меня с меньшим сыном Ивана Алексеевича Яковлева – Александром. Мы полюбили друг друга и подружились навсегда».

Две натуры, два характера, не имевшие между собой ничего общего, кроме стремления к смутным детским идеалам, сошлись на жизненном пути и прошли его весь от начала до конца рука в руку. «Герцен – это вечный деятельный европеец, живущий экспансивною жизнью, который принимает идеалы с тем, чтобы их уяснить, развить, разбрасывать. Ник – квиетическая Азия, в душе которой почила глубокая мысль, ей самой неясная». Герцен – тип Вольтера, с родственным великому философу талантом; Огарев – тип Руссо, без его гения, но с той же глубиной чувства, тою же застенчивостью и еще более искренний. Он никогда не доходил до злобы, проклятия; не знаю, раздражался ли он когда-нибудь. Робкая, недеятельная натура, он всякое горе запрятывал глубоко-глубоко в сердце, старался вобрать в себя, но это плохо удавалось: тяжелая непроглядная тоска, серая и неподвижная, как туман на болоте, грызла его без устали. В то время как обида или сознание несправедливости сейчас же принимали у Герцена форму протеста, когда он старался отметить своему врагу, задавить его без всякого сострадания, Огарев прощал и любил. Но кончил он нехорошо, и его предсмертные стихи почти так же страшны, как знаменитые «К сивухе» Полежаева.

Напиваясь влагой кроткой,
Напиваяся вином,
Напиваясь просто водкой,
Шел я жизненным путем.
И сломал себе я ногу.
И, хромающий поэт,
Как-то дожил понемногу

До шестидесяти лет…

И шестидесятилетним стариком, прикованный к креслу, Огарев грустно смотрел на прошлую жизнь: борьба не была победой…

У него был несомненный поэтический дар, но дар не живой, не деятельный, не энергичный – это как бы дремлющий бог Египта, сфинкс, не понимающий сам своей тайны. Он чувствовал глубоко, до слез, до отчаяния и восторга, но голос его был слаб, неблагозвучен. Так застенчивый человек краснеет и молчит перед любимой женщиной, в то время как его щеки пылают от внутреннего огня, сердце бьется и трепещет, страстное слово просится наружу, чтобы прозвучать на весь мир чудным аккордом любви, преданности, преклонения, и грудь теснится от невысказанного чувства, чистого, как утренняя роса, могучего, как голос пророка… Увы! Слов нет, и Огарев не находит их даже в минуту творчества. Его талант был чудным инструментом, но тайна его механизма осталась навеки тайной для самого Огарева. Читая его стихи, вы ежеминутно ждете, что вот-вот прозвучит что-то сильное и прекрасное, – но нет, беспомощность чувствуется уже в ближайшей строчке.

К вере, и притом к вере религиозной, к любви задушевной, полной преданности, самоотречения, к подвигам братства тянуло его постоянно. Жизнь отняла его веру и дважды растоптала его любовь. Он вобрал в себя горе, но, Боже, сколько тоски оставило оно по себе…

Он сам рассказал нам, как формализм обстановки, земные поклоны, обеды с архиереями надломили его веру в самом начале. Потом он любил. Его первая жена, Марья Львовна, с которой Тургенев списал m-me Лаврецкую в «Дворянском гнезде», красивая, изящная великосветская барыня, вышла за него по расчету. Между ними не было ничего общего. С кружком, который был для Огарева дороже всего в жизни, она не сошлась и рассорилась даже с Герценом. Огарев страдал молча, тихо, покорно: ни другом, ни женой пожертвовать он не мог. Наконец жена бросила его, кружилась несколько лет в Париже, в то время как Огарев изнывал от тоски в деревне. Новая любовь осветила его жизнь. В Наталье Алексеевне Тучковой он нашел, по-видимому, все, что искал, и прежде всего ум. Она также привязалась к нему, но ее привязанность была скорее привязанностью сестры, чем жены. Ей нужен был герой, чтобы страсть вспыхнула: другой и овладел ею по праву сильнейшего. После этого уже не рана в сердце, а рак в сердце образовался у

Огарева: жизнь его задребезжала, запрыгала, как плохо сколоченная телега, чтобы рассыпаться на первом косогоре. Вино сделало свое дело.

Огарев был из обреченных. Вся его жизнь пошла на других. Он отдавал все сердце целиком, – что получил он взамен? Уважение, дружбу. Но того, что ему было нужно, как вода для человека, как воздух для огня: любви и ласки женщины, которая согрела бы его, пробудила бы своею страстью его дремлющие силы, его молчаливый талант, – он не видел никогда. Единственный свет в его жизнь вносила дружба с Герценом. Эта дружба, вторгшись в его молчаливое меланхолическое существование, властно повернула его в другое русло. Только с Герценом Огарев отрешался от своей застенчивости, не покидавшей его даже в спальне жены; только с ним умел он быть совершенно откровенным и проявлять себя всего. Если бы Герцен был женщиной или мистиком, Огарев стал бы великим поэтом; если бы Герцена не было совсем, Огарев пошел бы по дороге Ивана Киреевского вплоть до Оптиной пустыни. Но судьба заставила его отдать всю свою жизнь политике, лишь немногие минуты оставив для поэтического творчества и музыкальных импровизаций. За возможность быть самим собой, за возможность хоть иногда не только ощущать в себе глубину, но и проявлять ее, Огарев и любил так сильно Герцена, любил, как брат, друг и – зачем бояться слова? – как раб. Есть что-то глубоко трогательное в привязанности, выдержавшей все удары и все испытания вплоть до жертвы любимым существом. Он жил с Герценом, думал, как Герцен, и служил тем же целям, которым служил его друг. *Лучшие минуты его вдохновения принадлежат товарищу. В нем сила опоры, источник энергии; его страстная речь пробуждает желание работать, бороться, и квиетическая Азия не дает меланхолии совершенно завладеть собой, не дает тоске задавить себя.* Порою у меланхолика Огарева вырываются даже мужественные стихи, – нечего и говорить, под чьим влиянием. В сонете, посвященном Герцену, он говорит:

О! Если б ты подумать только мог,
Что пробудил во мне твой голос издалека,
Как вызвал тьму заглохнувших тревог,
Как рану старую разбередил глубоко.
В испуге ты и с воплем бы ко мне
На шею кинулся, любя меня как прежде;
Но, свидясь вновь, мы в скорбной тишине
Уже не вверимся ребяческой надежде.
Нет, проклят будет этот век,

Где торжествует все, что низко и лукаво,
И где себе хороший человек
Страданья приобрел убийственное право.

Новсе ж вперед!

Глава IV. Университет

Вместе с Огаревым Герцен стал готовиться в университет. Право это досталось ему не без борьбы. Иван Алексеевич сначала и слышать не хотел «о каких-то там университетах», но в конце концов согласился. Чтобы чем-нибудь утешить себя, старик позвал сына к себе в спальню и задал ему жесточайший нагоняй. Он говорил, что все и во всем ему перечат, что он только для того и называется главой дома, чтобы его никто не слушал, и так далее. Герцен едва не прыгал от радости, выслушал всю нотацию с самым почтительным видом и, услышав заключительное: «Ну, Бог с вами со всеми», выскочил, как угорелый. Ему было восемнадцать лет, старый дом с его капризным режимом был ему тесен, потребность в товариществе, в одушевленных спорах, в гуле молодых голосов чувствовалась все настойчивее. Правда, жизнь и в старом доме была хороша, но впечатления его прискучили своим однообразием, успели набить оскомину…

Я вошел… те же комнаты были…
Здесь ворчал недовольный старик;
Мы беседы его не любили,
Нас страшил его черствый язык…
Вот и комнатка, – с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой:
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой…
В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в сердцах.
В этой комнатке счастье былое…
Дружба светлая выросла там…

Да, много было хорошего в старом угрюмом доме, но юность просилась в иную обстановку, на ширь и простор, искала науки, влияния, дела и все это думала найти в университетских стенах. Редко кто в наши дни подходит к «святилищу науки» с теми чувствами и мыслями, с теми неясными надеждами, смутными, но хорошими ожиданиями, с какими подходили к нему Огарев и Герцен с лишком шестьдесят лет тому назад…

Друзья легко выдержали вступительный экзамен и явились домой студентами физико-математического отделения. В душе

они, разумеется, считали себя совсем большими и совсем свободными, но освободиться от отеческой ферулы было не так-то легко.

«Замечателен, – рассказывает Пассек, – был отпуск Саши на первую лекцию. Карлу Ивановичу Зонненбергу поручалось сопровождать его. Перед отпуском Иван Алексеевич давал ему наставления, как бережно доставить Шушку в школу (под школой следовало подразумевать университет) и обратно домой; предписывалось лично присутствовать на лекции, смотреть, чтобы Шушка, уезжая из школы, садясь в санки, был закутан, а тоде он, пожалуй, думая, что теперь студент, – шапку набекрень, шубу на одно плечо. Зонненберг, проникнутый достоинством роли ментора, почтительно слушая, рисовался перед Иваном Алексеевичем, шаркал и с видом человека, готового постоять за себя и за других, закладывал ногу за ногу. Саша торопился уехать, глаза его горели радостью освобождающегося пленника, и вместе с тем он выходил из себя с досады на распоряжения, которые делались относительно него.

Мы проводили их до передней, потом смотрели из окна, как они выезжали со двора, оберегаемые сидевшим на облучке, рядом с кучером, камердинером Саши, Петром Федоровичем; они, торжественно улыбаясь, кланялись нам из широких саней, застегнутые медвежьей полостью».

Зонненберг сопровождал Герцена в школу и присутствовал на лекциях в качестве ментора около трех месяцев; Петр Федорович (лакей) сопровождал и оберегал его в продолжение всего курса и в течение этого времени передружился со всеми университетскими солдатами, узнал имена всех профессоров и студентов физико-математического факультета и знал, по каким дням какие лекции читаются.

«Началась университетская жизнь, – рассказывал потом Герцен. – Жизнь эта оставила у нас память одного продолжительного пира идей, пира науки и мечтаний, непрерывного, торжественного, иногда бурного, иногда мрачного, разгульного, но никогда порочного.

Оживить это прошедшее время, сделать его вполне понятным в рассказе – невозможно; чтобы вспомнить все мечты, все увлечения, надо очень много не знать, очень многого не испытать, надобно перезабыть бездну фактов, стереть с души бездну пыли, соскоблить пятна, заживить рубцы, осветить весь мир алым светом востока, всем предметам дать положительные тени, утреннюю свежесть и разительную новость. Мало того, надо, чтобы друзья юности собрались вместе в той же комнатке, обитой алыми обоями с золотыми полосками, перед тем же

мраморным камином, в том же дыму от трубок».

Герцен прав: оживить то время невозможно; оно слишком пылко, юно, неопределенно. Прелесть его не в нем самом, а в тех, кто его переживал, кто чувствовал в себе присутствие всемогущего Бога юности, чьи непочатые силы, горячее воображение, волнующаяся кровь преображали маленький, скромный, почти опальный университет, выкрашенный в одну краску с казармами, в святилище науки, в центр мысли, откуда должны излиться свет и счастье на всю бедную родину.

Когда Герцену сказали, что как раз над той комнатой, где собирались друзья юности, портной повесил свою скучную прозаическую вывеску, он заметил шутя: «Я уверен, что, если существуют духовные миазмы, этот портной шьет *мечтательные* фраки, *энциклопедические* жилеты и *фантастические* сюртуки…» Да, мечты, энциклопедия, фантазия, гуманизм, страстная жажда все переделать, все пересоздать одним порывом взволнованной юности – вот они университетские прежние годы, оставлявшие в человеке свою закваску на всю жизнь…

Друзья проповедовали. Что? Трудно сказать… Идеи были смутны, общества, в сущности, не было, но пропаганда пускала глубокие корни на всех факультетах и переходила в стены университета. Возбужденная мысль требовала исхода, пробудившиеся вопросы – разрешения. Молодежь распадалась на кружки – философские и политические, смотря по темпераменту участников. Но резко различие проявилось лишь впоследствии.

Прежде всего надо отметить кружок Станкевича.

Станкевич жил у профессора Павлова. По вечерам друзья собирались в его скромной квартире, и здесь велись оживленные беседы о чувстве изящного, о любви, дружбе, прекрасном. Здесь Красов рассказывал о своих встречах с неземными существами, здесь Станкевич читал товарищам, не знавшим еще немецкого языка, например Белинскому, своих любимых немецких поэтов – Шиллера, Гёте, Гофмана. Из русских же писателей друзья зачитывались Пушкиным и Жуковским и лишь впоследствии – Лермонтовым и Гоголем. В это время в кружке Станкевича Шиллер преобладал еще над Гёте, но более всего друзья увлекались Гофманом – мечтателем-фантазером, который не мог говорить об искусстве равнодушно и если касался этой темы, то не иначе изображал его, как в огненном нестерпимом блеске и в сверхъестественных фантастических формах… Такой писатель был как нельзя более под стать юным мечтателям и поклонникам искусства, преданным прекрасному до фанатизма.

Кружок Станкевича, как и его глава, отличался замечательным целомудрием. «Здесь, – говорит Анненков, –

жизнь шла трезво и бодро и благодаря своему главе носила редкий отпечаток скромности. Несмотря на природную веселость Станкевича, было что-то умеренное и деликатное в его шутке, подобно тому как мысль его отличалась истинным целомудрием, несмотря на страсти и увлечения молодости. Все это, конечно, держало разнородные личности, из которых состоял его круг, в одном общем настроении и на одинаковой нравственной высоте».

Ах, что такое жизнь?… Какая череда
Создать меня с сознанием могла? —

таков был основной вопрос кружка настроенных на высокий лад юношей. Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич естественно должен был более любить отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел: это был «победный венок, выступавший на бледном предсмертном челе юноши».

Совершенно другое – кружок Герцена. Здесь на первом плане «вопросы жизненные и чисто практические», здесь Сен-Симон вместо Гофмана, «Новое Евангелие», религия человечества, здесь политическое и нравственное мышление преобладает над мышлением религиозно-эстетическим, Шиллер и Гёте пользуются громадным уважением, но героями являются не литераторы и художники, а декабристы и люди науки; крепостное право осуждается с позиций сенсимонизма.

Как в этот период, так и после Сен-Симон являлся для Герцена духовным вождем, и под его-то влиянием складывается миросозерцание будущего автора «С того берега». Герцен зачитывался «Параболой» – этой странной книгой, полной парадоксов, несообразностей и вместе с тем несомненной глубины и своеобразной практичности. То, что мы называем экономическим материализмом, ведет свое происхождение, в сущности, отсюда. Сен-Симон первый провозгласил, что наука и промышленность, труд и знание, а не что-нибудь другое, являются основами современности, что они питают общественную жизнь, определяют ее богатство и бедность, счастье и несчастье отдельных людей. К науке он относился с чисто религиозным уважением: он ставит Ньютона выше пророков, «Principia» – выше Библии. Он требовал, чтобы государство обеспечивало ученых и давало им ту власть и то значение, которыми пользуются государи и министры. Праздник в честь Ньютона должен был сделаться праздником всего человечества. Прибавьте к этому резкие выходки против аристократии и духовенства, требование, чтобы жизнь служила полезному, а не мистическому, чтобы

всякий пользовался уважением и занимал место сообразно своим делам и заслугам перед обществом, прибавьте резкий язык, раздраженную фантазию, неподдельную ненависть, тон пророка, иронию искренней злобы, – и вы поймете, почему горячий, обуреваемый жаждой деятельности Герцен так увлекся сенсимонизмом, несмотря на его парадоксы и очевидные несообразности. «Есть, – говорит он сам, – границы, за которые человек переступить не может, – это границы физиологические». И если кто хочет понять, что заставило Герцена так рано заинтересоваться политикой, тот должен прежде всего изучить его темперамент, эту физиологическую границу всей его деятельности.

Так, рядом, но в некотором духовном отдалении друг от друга, существовали различные кружки.

Велика была их роль в свое время.

«Можно сказать, что в то время Россия будущего существовала между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства. В них было наследие общечеловеческой науки.

Это были зародыши истории, незаметные, как зародыши вообще, слабые, ничтожные; ничем не поддерживаемые, они легко могли бы погибнуть без следа, но они остаются, а если и умирают на полдороге, то не все умирает с ними.

Мало-помалу зародыши развиваются, растут; из них составляются группы. Более родственные группы собираются около своих средоточий, другие отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и возможность многостороннего развития; распустившиеся ветви соединяются; как бы они ни назывались – кружком Станкевича, славянофилов, западников – главная черта их – глубокое чувство отчуждения от среды, их окружающей, стремление выйти из нее.

Возражение, что эти кружки представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, – неосновательно.

Люди вообще трудно отрешаются от своего наследственного склада – физиологический предел нельзя перейти, для этого надо исключить следы колыбельных песен, родных полей, гор, обычаев и всего окружающего строя.

Если аристократы прошлого века, пренебрегая всем русским, в самом деле оставались русскими, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам.

Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, александровское поколение заняло первое место. Мало-помалу оно утратило дикую поэзию кутежей, барства, храбрости; они служили и выслуживались, но это были не сановники.

Время их прошло.

Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа, для него ничто не переменилось – ему было не хуже и не лучше прежнего. Его время не пришло.

Между этой основой юноши, почти дети, первые приподняли голову, может быть не подозревая, как это опасно; этими детьми Россия частью начала приходить в себя.

Их внимание остановило противоречие учения с жизнью. Учителя, книги, университет говорили одно – это было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда – другое, с чем согласны власти и денежные выгоды. Противоречие воспитания с нравами доходило до громадных размеров.

Число воспитывавшихся было мало; но и те получали не то чтобы объемистое воспитание, а довольно общее и гуманное: оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. А человека-то именно было не нужно. Приходилось или снова расчеловечиться – так толпа и делала, – или приостановиться и спросить себя: «Да надобно ли непременно служить?» Для большинства наставало праздное существование в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина. Для других – время внутренней работы. Жить в нравственном разладе с собой они не могли. Возбужденная мысль требовала выхода. Разрешение разных вопросов мучило молодое поколение и обусловливало распадение его на разные круги!»

* * *

Я уже сказал, что Герцен и Огарев поступили на физико-математический факультет, но ни физикой, ни математикой их особенно не обременяли, в моде было другое – натурфилософия, шеллингизм. Во главе профессоров стоял знаменитый тогда Павлов. Вместо физики и сельского хозяйства он преподавал введение в философию. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству – невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического факультета и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, была совершенно лишена философской подготовки;

одни семинаристы имели понятие о философии, зато совершенно превратное. Отвечая на эти вопросы, Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такою пластической ясностью, которая не была доступна ни одному натурфилософу. Если он не во всем достиг прозрачности, то это не его вина, а вина мутного Шеллингова учения.

Шеллинг и Гегель – эти герои философско-романтического движения – долго, больше десяти лет, поддерживали строгую железную дисциплину русской мысли. Они перевоспитали ее и, в сущности, привели к самосознанию. Они заставили ее пересмотреть все то, чем она жила, во что верила, к чему стремилась: только под руководством этих строгих, суровых учителей достигает она зрелости и вместо мечтаний переходит к изучению.

Павлову вторил Максимович, читавший органографию растений, где не было органографии, но было очень много философствования «de omnibus rebus quibusdam que aliis». Остальные профессора естественных наук пользовались любым случаем, чтобы поострить над натурфилософией и отметить «добросовестное» преподавание физики. Со своей стороны и Павлов не оставался в долгу и платил им с процентами и «рекамбиями». Таким образом, преподавание на физико-математическом отделении было чисто полемическое. На эти полемические лекции студенты стекались со всех отделений.

«Разумеется, – говорит Герцен, – я ратовал под знаменем „Idealistische Lehre“[8] и резался с нападавшими на него профессорами».

Этот полемический и философский элемент и был тем началом, которое давало жизнь преподаванию на физико-математическом факультете. Благодаря ему все связывалось и объединялось; Шеллинг был тем же цементом различных органографии, тем же оплодотворяющим началом сухих лекций, каким в настоящее время является Дарвин. О научности же преподавания мало заботились сами профессора, еще меньше студенты, особенно такие юные горячие головы, как Герцен.

С первого же своего шага в университете он отдался товариществу. В студенческой среде нашел он многостороннее поприще, чтобы проявить все изгибы своей души; тут нашел он жизнь, очень близкую его нраву, фантазиям и убеждениям. Вскоре благодаря своему красноречию, остроумию, искренности он занял первое место в аудитории естественных наук и последнее в обществе «естествоиспытателей», где считался не более как élève de société – светским юношей, любителем просвещения и признанным дилетантом. Мало-помалу он стал студентом с весом

и шагнул в ряды высшей, «боевой» аристократии аудитории. Заняв место в первых рядах, он с наслаждением пользовался властью, влиянием и славой в многочисленной товарищеской среде. История с профессором Маловым поставила его еще выше; Герцен отсидел неделю в карцере и приобрел репутацию героя. Малов, грубо обращавшийся со студентами и тем вызвавший инцидент, был окончательно посрамлен.

Первый арест прошел очень весело. Нравы тогда были совсем патриархальные.

«Как только наступала ночь, – рассказывает Герцен, – Ник и еще четверо товарищей с помощью четвертаков и полтинников являлись к нам; у кого в кармане ликер aux quatre fruits,[9] у кого паштет, у кого рябчики, у кого под шинелью бутылка клико. Разумеется, мы встречали с восторгом и друзей, и их съестные знаки дружбы. Свечей зажигать нам, заключенным, не позволялось. Опрокинувши стулья, мы делали около них юрту из шинелей, высекали огонь, зажигали принесенную сальную свечу и ставили ее под стол таким образом, чтобы из окон нельзя было ее видеть, потом ложились на каменный пол, и начинался пир до позднего вечера; тут, кажется, и засыпали, а ночью – опять пир. И так все семь дней…»

Юность товарищества уравнивала дороги. Жизнь катилась, как на рессорах. Позднейшие поколения встретили другую обстановку, другие нравы. А в то время, в начале тридцатых годов, характер Московского университета был в значительной степени патриархальный. Начальство обращало на него не слишком большое внимание, лекции читались и не читались. Казарменного не было ничего: большинство профессоров говорили студентам «ты» и охотно вступали с ними в пререкания. Даже внешность наблюдалась плохо. Профессора и студенты по уставу должны были носить вицмундиры с малиновыми воротниками и гербовыми пуговицами; в торжественные дни им полагались шпага и треуголка. Несмотря на несомненное присутствие карцера в подвальном этаже, устав был мертвой буквой. Многие студенты ходили на лекции в чем и как хотели: на иных виднелись эксцентрические платья, волосы чуть не до плеч, прикрытые крошечными фуражками, едва державшимися на юных головах. На шеях пестрели разноцветные шарфы. В сумерках студенты шеренгами прохаживались по Тверскому бульвару с таким решительным, вызывающим видом, что гуляющие давали им дорогу.

Кипятиться, ораторствовать, волноваться была полная возможность, все равно о чем – о философии, политике, литературе. В философии – Шеллинг, в политике – декабристы, в

литературе – Полевой и его журнал, Одоевский, Пушкин, – все это требовало обсуждения со стороны восемнадцатилетних юношей, «несомненно и очевидно» призванных разрешить *все* вопросы и облагодетельствовать *все* человечество. И шла жизнь «не былие травное», а веселая, бойкая, энергичная – вечный пир молодости, вечные восторги.

Глава V. После университета

В июле 1833 года Герцен сдал экзамен на кандидата и написал диссертацию об историческом развитии Коперниковой системы. За диссертацию ему назначили не золотую, а серебряную медаль, так как в ней было очень много философии и очень мало формул; Герцен обиделся и на акт не пошел.

«Когда я, – пишет он в это время, – по чугунной лестнице университета выходил кандидатом и с тем вместе из школы на божий свет, тогда иначе взглянул на все. Чувство самобытности и совершеннолетия никогда не бывает так ярко, как в минуту окончания публичного испытания. Испанские башмаки, шнуровавшие душу, лопаются, и фантазия гуляет на свободе. Нет более ни правил, ни направления извне – это медовый месяц совершеннолетия. С чувством собственного достоинства и достоинства кандидатской степени я явился домой и посвятил Нептуну мокрое платье, в котором плавал три года по схоластическому болоту на ловлю идей, т. е., говоря презренной прозой, подарил первогодичным студентам толстые тетради лекций, выучившие меня стенографии и разучившие писать удобочитаемо».

Он уже любил в это время, любил горячо, искренне, навеки, как думал сам, слишком ненадолго, как оказалось в действительности.

«Любовь моя была односторонняя, – рассказывает он, – и отчасти натянутая; тогда я этого не замечал. Чиста была эта любовь, как ясное майское небо, светлой речкой катилась она по зеленому полю надежды, только иногда волновалась, вспоминая о молодом человеке, бывшем *ее* женихе, и тем, что он скоро был забыт. Я отыскивал в своей душе давно забытые страницы сантиментальности, принаряжал ими душу, отчасти это чувствовал и к сантиментальности присоединял все мои либеральные мечтания. Я говорил *ей,* и говорил от души, что за осуществление моих политических убеждений пожертвую моею любовью, пожертвую ею, и вполне верил в истинность и неизменность этих слов, так, как и чувствовал».

Бывают баловни судьбы, люди, заставляющие в других звучать струну самоотречения, – звучать долго, сильно, на всю жизнь. Таков был и Герцен: он всегда был окружен коленопреклоненными – другом, женой, любимой женщиной. И в этом коленопреклонении и друг, и жена, и любимая женщина находили свое лучшее счастье, свою радость бытия. Их муки начинались только тогда, когда их жертвы становились уже

ненужными и они сознавали это. Тогда их жизнь теряла смысл и цель. Их чувство было лишь лавровым листком, украшавшим голову победителя, одним листком среди венка…

Спустя много лет Герцен, вспоминая о своей первой любви, говорил, что она ему мила, как память о прогулке по берегу моря среди цветов и песен. Он сравнивал ее с ландышем и спрашивал: «Когда же ландыши зимуют? Они должны увянуть вместе с весной, которая породила их». Для него первая любовь была сном в майскую ночь, для нее – всем. Жизнь ее была разбита, и она тихо догорала, отдавшись одной религии. Когда она узнала, что он женат, ни жалобы, ни укора не вырвалось у нее; только смертная бледность распространилась по лицу; все горе, все страданье безмолвно замкнулось в ее груди, и навсегда. С той минуты она и имени его не произносила, как будто его и не существовало никогда. Впоследствии ей не раз делали предложения – она отказывала всем. Она осталась верна воспоминанию и чувству и не хотела убирать свежими цветами свое увядшее сердце…

Тяжелые события отвратили Герцена от одного чувства и породили новое – более мощное, охватывающее. В 1834 году Огарев был арестован, обвиненный в сношениях с кружком молодых кутил, певших в недобрый час противоправительственные песни. Герцен метался по городу, добиваясь свидания с другом, и сам ожидал ареста. Арест не заставил себя долго ждать, но сначала случилась встреча, определившая целую полосу его развития…

19 июля вся Москва ехала на скачки и гулянье, на Ходынское поле. Отправился туда и Герцен, чтобы как-нибудь убить время. Насколько занимали его скачки, понять легко. Он стоял одиноко и смотрел на толпу, как туча саранчи, покрывавшую поле, на кареты, которые двигались между саранчой, и был очень грустен. Встречавшиеся знакомые заговаривали с ним о скакунах и, видя, что он расстроен, отходили. Он молил Бога ни с кем не встретиться и вдруг увидел в карете свою двоюродную сестру – Наталью Александровну. Она подозвала его и заговорила в первый раз после многих лет знакомства.

«Я прежде судил о ней, – говаривал впоследствии Герцен, – не понимая ее; огромное расстояние делило меня, студента-карбонара, от нее, религиозной, а между тем мы шли бессознательно к одному и тому же миру, только с разных сторон. Религия чувством поднимает до созерцания тех истин, до которых разум доходит трудным путем; сверх того, она кладет печать божественности на чело и не допускает короткости. Наташа мало знала свет и высшей целью ставила стены монастыря, чтобы, как

стих псалма, как аккорд оратории, горячей молитвой вознестись на небо».

«Я не мог вполне оценить ее прежде, – продолжал он, – увлеченный, рассеянный страстями, друзьями, науками, планами, оргиями, влюбленный. В этот же день душа, взволнованная несчастием, взглянула другим взглядом – взглядом магнетизма».

Скачки кончились. Они шли пешком к кладбищу. Первое, что открылось, был позлащенный шпиц высокой колокольни приходской церкви Николая. Переполненная душа Герцена вылилась *черствым словом.*

– И эта колокольня ничего не говорит больше вашему сердцу? Посмотрите, куда она указывает, – сказала Наташа, – там утешатся все скорби!

– Там, – отвечал Герцен. – А здесь иметь душу, полную сил, желаний добра, и быть не в состоянии что-нибудь выполнить!

– Разве в этом его вина. От этого душа его не менее перед Богом. Кто живет в Боге, того сковать нельзя, сказал великий страдалец, снесший голову на плаху – апостол Павел.

В другое время Герцен улыбнулся бы, а тут он не улыбнулся, однако возразил:

– Вы все ссылаетесь на тот свет, а здесь мой друг за любовь к людям гибнет неоцененный, неузнанный. Апостол Павел снес голову на плаху тогда, когда обратил целые страны в веру Христа.

– Неужели вы это говорите о рукоплесканиях? Сейчас мы видели, как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды.

Разговор скоро оборвался на полуслове, а новые мысли, новые чувства закипели и заволновались в душе. Странно, но верно, что иногда бывает достаточно одного ничтожного, по-видимому, толчка, чтобы вызвать на поверхность души таящиеся в ней неизвестные самому человеку чувства. Герцен услышал давно забытое им слово «молитесь», услышал от молодой, но серьезной не по летам девушки, много вынесшей на своем юном веку. Душа возжаждала веры; одиночество тюрьмы, скука ссылки укрепили ее. Вместе с верой пришла и любовь…

Герцена арестовали в ночь на 20-е июля. Отец с дрожащей нижней челюстью благословил сына на трудное испытание. Десять месяцев длилось следствие, а значит, и одиночное заключение. Однообразные, унылые впечатления каземата делали напряженной внутреннюю жизнь. Крошечное семя, зароненное в душу на кладбище и унесенное бы, быть может, на свободе вихрем занятий, развлечений, пустило ростки, зазеленело сначала, расцвело потом…

За что арестовали Герцена? Это скучная история. Огарев был

арестован за знакомство с приятелем Соколовского, Соколовский – за то, что сочинил вольную песню, Герцен – за дружбу с Огаревым. Песня была, разумеется, только предлогом. Настоящей причиной были опасения, которые возбуждал кружок своими слишком громкими и страстными речами. Ведь кружок не распадался и после университета: он шумел и кипел по-прежнему…

Вплоть до апреля Герцен просидел в Крутицких казармах. Он мечтал и любил, любовь и юность разукрасили даже каземат.

«Однажды, – рассказывает он, – часов в восемь вечера навестил меня некогда бывший мой законоучитель – отец Василий; он уже не один раз был у меня, и беседа его всякий раз оставляла в душе светлый след. Я обнял почтенного пастыря. Когда он давал мне уроки, я не умел оценить вполне этого человека, с его восторженной, чистой душой. Что-то беспредельно торжественное было в беседе нашей: плавным, величественным maestoso закончилась она; благословение пастыря, объятия друга напутствовали меня. В эти минуты я был достоин принять высокие впечатления. Возбужденная душа раскрывалась всему святому. Взор мой покоился на двери, в которую вышел священник.

Дверь снова отворилась. Видали ли вы на образах явление Девы Марии, в какой-нибудь бедной келье, изнеможенному старцу-монаху, во всем блеске просветленного образа человеческого, в котором плоти едва осталось очертание, а дух божественности просвечивает в своей бестелесности? Видали ли взор любви и кротости, обращенный на поверженного в прах угодника? И его взор, светящийся восторгом и благоговейным трепетом? Я был тот, которому явилась Дева… Молча протянула она мне руку, я быстро схватил ее…

…Не так ли умирает человек? Посланник божий, светлый, улыбающийся, подойдет к страдальцу, протянет руку – и тело мертво, а душа родилась в царство духа и свободы. Как ясно стало в душе моей, когда я держал ее руку; казалось, не о чем было и говорить, а когда стали говорить, говорили так, ничтожные вещи. Разлука укрепила нашу симпатию, дала возможность придти в себя, в сознание, превратиться в сущность жизни, в самую жизнь. Только тогда пало несколько слов, которые носят в зародыше мир чувствований, мыслей, дел. «Брат, – сказала она прощаясь, – в дальнем крае помни, что твоя память о ней ей так необходима, как жизнь». Мы простились. Время опустило меч свой».

Герцен, как и прежде, оставался с глазу на глаз со своим сторожем Терентьичем, отставным солдатом. Но день свободы

был уже близок – по крайней мере той свободы, которую может дать ссылка. Ссылка грозила неминуемо, Герцен это знал, но не сделал ничего, чтобы предотвратить ее. На допросах он держал себя гордо и независимо и произвел на своих судей впечатление нераскаянного грешника. За это-то главным образом он и должен был отправиться в Пермь.

Настало 10-е апреля. В жизни Герцена это был день, создающий собой эпоху.

Всей его важности он и сам не понимал сначала. Молодость, вера в себя и свои силы разукрасили ожидавшуюся ссылку, и он думал, что легко перенесет ее. А между тем не было бы ссылки – не было бы, вероятно, и эмиграции, и страшного душевного раскола, который эмиграция принесла за собой. Ссылка обидела Герцена. Его гордая, независимая душа возмутилась той бесцеремонностью, с которой посягали на его личность. Покорности и смирения не было в его натуре. Он не умел, как Витберг, как Достоевский, вобрать в себя обиду и находить своеобразное наслаждение даже в страданиях. Он считал, что с ним поступили несправедливо, и его характер требовал мести. Из мальчика-либерала он благодаря постоянному специальному вниманию к себе сделался непримиримым врагом всего, что давит человеческую личность, что накладывает на нее какие бы то ни было кандалы и путы. О ссылке всю свою жизнь он говорил с ненавистью, со злобой, иногда просто со злостью, – со злостью силы, которая видит, что не может отомстить так, как желает, и должна удовлетвориться лишь стрелами иронии, даже не долетающими до цели.

Это чувство личной неприкосновенности, доводимое порою до крайности, до «нигилизма», как выражается Страхов, до ненависти ко всякому гнету, до отрицания всякого подчинения, очень характерно. Оно как нельзя лучше оправдывает не раз прилагавшийся к Герцену эпитет «европеец», так как табунного, массового начала – того то есть, которое многие считают сущностью славянской натуры, – в нем не было и следа.

Но вместе с тем ссылка, как бы ничтожны и пошлы ни были ее впечатления, значительно приблизила его к земле, к действительности, сведя с высоты школьного идеализма, питавшегося Шиллером.

Настало, повторяю, 10-е апреля. Несколько утренних часов прошли в утомительных и скучных формальностях.

«Наконец, – пишет Герцен, – я в коляске, за заставой.

Не было сил еще раз взглянуть на Москву – да и Бог с ней. Колокольчику отвязали язычок – мы едем. Вдруг провожатый, спокойно куривший трубку, привстал на козлах, снял фуражку и

стал креститься, говоря моему камердинеру: «Креститесь, почем знать, увидим ли Кремль и Ивана Великого». Фу! Я бросил извозчику четвертак, чтобы он поскорее ехал, и ямщик поскакал: ветер – буря! На другой день я с любопытством смотрел на губернский город. Воспитанный во всех предрассудках столицы, я был уверен, что за сто верст от Москвы и от Петербурга – Варварийские степи, Несторово Лукоморье, и крайне удивился, что губернский город похож на дальний квартал Москвы».

Несколько дней быстрой езды по весеннему скользкому снегу, несколько дорожных приключений при переправах через реки, две-три остановки в губернских городах, – и под свинцовым нависшим небом Герцен увидел как бы в беспорядке брошенную группу деревянных построек вдоль берега широкой, могучей реки. Это была Пермь. Здесь следовало остановиться, надолго, как предполагалось, и всего на двадцать дней в действительности. Герцена отправили из Перми в Вятку, так как другой ссыльный просился на его место. Пермь или Вятка? Что лучше или что хуже? Ему было безразлично…

«В Перми, – вспоминает он, – я не успел оглядеться; там только хозяйка дома, к которой я пришел нанимать квартиру, спрашивала меня, нужен ли мне огород и держу ли корову, – вопрос, по которому я с ужасом вымерил мое падение с академических высот студенческой жизни. Пермь была для меня ad lectionem, настоящий текст – в Вятке… Не думая, не гадая, я уехал из Перми дней через двадцать, и через пять с половиною суток вялая волна Вятки подвигала мой досчаник[10] к крутому берегу, на котором красовалось длинное желтое неуклюжее здание губернского правления. Опять fatum! А я грустно подвигался к Вятке, душа предчувствовала много ударов, падений, грязи, мелочей, пыли, – это было в 1835 г., 20-го мая, вечером…»

Очень малоопытный в жизни и брошенный в мир, совершенно ему чуждый после девяти месяцев тюрьмы, Герцен жил сначала рассеянно, без оглядки; от нового края, от новой обстановки рябило в глазах. Его общественное положение сильно изменилось. В Перми, в Вятке на него смотрели совершенно иначе, чем в Москве: там он был молодым человеком, жившим в родительском доме; здесь, в провинциальном болоте, он стал на свои ноги, был принимаем за чиновника и жениха, хотя ни к одному из этих «ремесел» не питал ни малейшей склонности. Нетрудно было ему догадаться, что без большого труда он мог играть роль светского человека в заволжских и закамских гостиных и быть львом в вятском обществе… Только зачем все это?

«В силу кокетливой страсти de l'approbativité,[11] – признается он, – я старался нравиться направо и налево, без разбора кому, натягивал симпатии, дружился по десяти словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цепь неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась бессмысленной ссорой, в которой меня же обвиняли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, непостоянстве…»

Первое время он жил не один. Вместе с ним отец отправил Карла Ивановича Зонненберга, того самого, который когда-то провожал его на первую лекцию. Карл Иванович немедленно же по приезде принялся за дело, то есть за покупку ненужных вещей, всякого хлама, всякой посуды, кастрюль, чашек, хрусталя, запасов и даже лошади. Когда в Перми все было готово и монтировано на барскую ногу, Герцена перевели в Вятку. Здесь Зонненберг проявил еще большую ревность.

«В Вятке он купил уже не одну, а трех лошадей, из которых одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества».

Новая любовь и новая дружба скоро позолотили ссылку, но ненадолго и к тому же робкими, мимолетными северными лучами. Новая могила явилась и в сердце Герцена. Он поступил жестоко, по-юношески. Что делать? Жестока юность. Это боевой период жизни, который переживает не только отдельный человек, но и целые народы. И они, ощущая в себе присутствие неведомой и не испытанной еще силы, чувствуя, как кипит и волнуется кровь, идут нестройными одушевленными ватагами искать приключений, завоеваний, побед. Игра жизнью, игра силой прельщает их, и сколько разрушенных городов, опрокинутых государств, сколько пирамид из вражеских черепов оставили эти юные народы после своего победоносного шествия, пока не вошли наконец в колею серенького, расчетливого существования. Так и человек, если он добр, юн, самоуверен, – ему нужны победы, он ищет их, он не привык еще смиряться, самая любовь влечет его к себе, потому что он ищет, кого бы подчинить себе, над кем бы властвовать. И у кого от дней юности не осталось тяжелых воспоминаний, мучительных сожалений об «увядших весенних цветах», о привязанностях, принесенных в жертву этой страстной деспотической жажде властвовать, заставлять других служить себе? Но к рассказу.

Герцен и некая г-жа Р. скоро увиделись. Р., как истинная героиня романа, была очень несчастна и, обманывая себя мнимым спокойствием, томилась и исходила в какой-то праздности

сердца. Она не любила мужа и не могла любить его: ей было лет двадцать пять, ему – за пятьдесят; с этим, может быть, она бы сладила, но различие образования, интересов, характеров было слишком резко… Муж почти не выходил из комнаты; это был сухой, черствый старик, чиновник с притязанием на помещичество, раздражительный, как все больные и как все люди, потерявшие состояние…

К чему привело знакомство – угадать нетрудно.

«С месяц, – рассказывает Герцен, – продолжался запой любви; потом будто сердце устало, истощилось – на меня стали находить минуты тоски; я их тщательно скрывал, старался им не верить, удивлялся тому, что происходило во мне, а любовь стыла себе да стыла. Меня стало теснить присутствие старика, мне было с ним неловко, противно. Не то чтобы я чувствовал себя неправым перед гражданским собственником жены, которая его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унизительной; лицемерие и двоедушие – два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чем, но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье…»

Старик Р. скоро умер.

«Печаль жены улеглась мало-помалу, она тверже смотрела на свое положение; потом мало-помалу и другие мысли прояснили ее озабоченное и унылое лицо. Ее взор останавливался с какой-то взволнованной пытливостью на мне, будто она ждала чего-то, вопроса и ответа. Я молчал, и она, испуганная, встревоженная, стала сомневаться. Тут я понял, что муж, в сущности, был для меня извинением в своих глазах, – любовь откипела во мне. Я не был равнодушен к ней, далеко нет, – но это было не то, чего ей надобно было. Меня занимал теперь другой порядок мыслей, и этот страстный порыв словно для того обнял меня, чтобы уяснить мне самому *иное* чувство. Одно могу сказать я в свое оправдание: я был искренен в своем увлечении…»

Мы вправе остановиться перед такими коллизиями жизни и подвергнуть их суду совести, но совесть наша не сумеет высказаться с полной определенностью; ее приговор расплывается в томительном раздумье. Два направления мыслей, чувств, настроений вот уже тысячелетие борются в душе цивилизованного человека. Одно подсказывает ему его право на все, говорит ему о законных наслаждениях, оправдывает страсть, хотя бы она заканчивалась жертвой; другое требует самоотречения и лишь в торжестве воли над искушением видит торжество истины. Мы колеблемся между двумя смутными идеалами. Юность служит первому, а это служение оставляет на

душе горький осадок.

«Зачем, – спрашивает Герцен, – она встретилась именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло в могилу, новая жизнь любви, гармонии была так возможна для нее. Бедная, бедная Р.! Виноват ли я, что это облако любви, так непреодолимо набежавшее на меня, дохнуло так горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потом?»

Разрыв был неминуем, неизбежен, и какое величие души проявила несчастная женщина, вся жизнь которой была отдана в жертву лжи и иллюзии. Герцен наконец признался ей во всем. Полуложь, которую он длил целые месяцы, стала невыносимой. Он сказал, что от его любви не осталось и следа. На другой день ему подали ответ от Р. Она благословляла его на новую жизнь, желала счастья, называла Natalie сестрой и протягивала руку на забвение прошедшего и на будущую дружбу, – как будто она была виновата!..

* * *

«Порыв любви к Р., – писал впоследствии Герцен, – уяснил мне собственное сердце, раскрыл его тайну…»

Увлекаясь все больше и больше в своей симпатии к отсутствующей кузине, он, однако, не давал себе отчета в чувстве, связывавшем его с ней. Он привык к нему и не следил, изменилось ли оно или нет. А любовь росла. Имя «сестра» начинало стеснять его. Теперь ему уже было недостаточно дружбы; это тихое чувство казалось холодным. Каждое новое письмо, полученное из Москвы, только горячило страсть. Любовь «сестры» была видна в каждой строчке ее писем, но «мне, – говорит Герцен, – уж и этого было мало, мне нужна была не только любовь, но и самое слово». Он писал в это время: «Я сделаю тебе странный вопрос, веришь ли ты, что чувство, которое питаешь ко мне, – одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, – одна дружба? *Я не верю».*

Переписка с этой минуты стала проще, искреннее: влюбленные договорились. Теперь мы знаем эту переписку полностью, и странно было слышать жалобы на то, что она скучна, длинна, мелочна: это один из тех немногих невыдуманных и неприкрашенных документов жизни, которые позволяют нам заглянуть глубоко-глубоко в чистую женскую душу, туда, где берет начало, изливаясь потом то в форме наивного детского лепета, то в форме истинно лирического

монолога, светлый источник лучшего женского чувства – материнства. Неужели мы уже настолько сухи и черствы, что не можем проникнуться даже прелестью подобной переписки?

Согласен, что письма Герцена хуже. В них рядом с истинным чувством – ломаные выражения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы Гюго и французских романтиков. Ничего подобного в ее письмах: слог ее прост, поэтичен, истинен, и заметно одно влияние – влияние Евангелия.

Роль этой переписки, не прекращавшейся ни на минуту целые годы, громадна. Она продолжила собою то, что началось еще при встрече на кладбище; она учила молитве. Natalie, – говорит впоследствии Герцен, – едва указала мне Бога, и я стал веровать», – и веровал долго под влиянием своей невесты.

Когда он признался в любви, она отвечала: «Ты что-то смущен, я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чем меня. Успокойся, друг мой, оно не переменило во мне решительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше».

Спокойствием, убежденностью, серьезностью верующего проникнуто каждое ее слово. И повторяю: за признаниями влюбленной девушки вы постоянно слышите голос любящей матери. Любовь наполняет ее сердце, и она отдается своему чувству без малейшего жеманства, без колебаний. Ей так привольно любить и знать, что она любима, как привольно дышать свежим воздухом в широкой бесконечной степи.

«Может, ты сидишь теперь, – пишет она, – в кабинете, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару и взор твой углублен в неопределенную даль и нет ответа на приветствие взошедшего. Где же твои думы? Куда стремится взор? Не давай ответа… Пусть придут ко мне.

Будем детьми, назначим час, в который нам обоим непременно быть на воздухе, – час, в который мы будем уверены, что нас ничего не делит, кроме одной дали. В восемь часов вечера и тебе, верно, свободно? А то я давеча вышла было на крыльцо – да тотчас возвратилась, думая, что ты, верно, в комнате.

Глядя на твои письма, на портрет, думая о моих письмах, о браслете, мне захотелось перешагнуть лет за сто и посмотреть, какая будет их участь? Вещи, которые были для нас святыней, которые лечили наше тело и душу, с которыми беседовали и которые нам заменяли несколько друг друга в разлуке, все эти орудия, которыми мы оборонялись от людей, от рока, от самих себя, что будут они после нас? Останется ли в них сила их или душа? Разбудят ли они, согреют ли чье сердце? Расскажут ли наши страдания, нашу повесть, нашу любовь? Будет ли им в

награду хоть одна слеза? Как грустно становится, когда воображу, что портрет твой, наконец, будет висеть безвестным в чьем-нибудь кабинете или, может быть, какой-нибудь ребенок, играя им, разобьет стекло и сотрет черты».

Трогательна эта ревность любви к всеразрушающему времени, это опасение, как бы вечность не уничтожила и последних следов чувства…

Любовь питалась не только разлукой, но и, как это часто бывает, противодействием окружающих. Старшие и с той, и с другой стороны были против брака. Наталью Александровну хотели даже насильно выдать замуж. В тех же письмах она рассказала о пережитых ею муках. Переписка ее с Герценом, долго скрываемая от княгини, у которой в качестве сироты и воспитанницы жила она, была наконец открыта. Княгиня взбунтовалась и строжайше запретила людям и горничным доставлять письма молодой девушке и отправлять ее письма на почту. Для окончательного же прекращения всякой глупости решено было виновную выдать замуж. Наталья Александровна, разумеется, решительно заявила, что не примет ничьего предложения.

Тогда началось беспрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гонение; гонение ежеминутное, мелкое, цепляющееся за каждый шаг, за каждое слово.

«Представь себе, – писала в это время Наталья Александровна, – дурную погоду, страшную стужу, ветер, дождь, пасмурное, какое-то без выражения небо, прегадкую маленькую комнату, из которой, кажется, сейчас вынесли покойника, а тут эти *дети* без цели, даже без удовольствия шумят, кричат, ломают и марают все близкое, да хорошо бы еще, если бы только можно было глядеть на этих *детей,* акогда заставляют быть в их среде!.. У нас сидят три старухи и все три рассказывают, как их покойники были в параличе, как они за ними ходили, – а и без того холодно?…»

Началось систематическое гонение, и не только со стороны княгини, но и жалких старух-приживалок, мучивших беспрерывно девушку, уговаривая ее идти замуж и браня Герцена; большей частью она умалчивала в письмах о ряде неприятностей, выносимых ею, но иной раз горечь, унижение и скука брали верх.

«Не знаю, – пишет она, – можно ли выдумать еще что-нибудь к моему угнетению, неужели у них станет настолько ума! Знаешь ли ты, что даже выход в другую комнату мне запрещен, даже перемена места в той же комнате… Я давно не играла на фортепиано, подали огонь, иду в залу, авось либо смилосердятся; нет, воротили – заставили вязать… Непременно сядь тут, рядом с

попадьей, слушай, смотри, говори, а они только говорят о Филарете да пересуживают тебя… На минуту мне стало досадно, я покраснела, и вдруг тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть их рабой, нет, мне смертельно стало жаль их…»

Жених отыскался скоро, и дело дошло до формального сватовства.

«Что я вытерпела сегодня, – жалуется Наталья Александровна в письме от 26 октября 1837 года, – ты не можешь себе этого и представить. Меня нарядили и повезли к С. Тут был он…»

* * *

Легко себе представить, как рвался Герцен из Вятки. Он писал, утешал, сам приходил в отчаяние, но делать было нечего: оставалось ждать и терпеть. К Вятке почти ничто не привязывало его; он был чужим в этом обществе, состоявшем почти исключительно из чиновников разных ведомств. Служба была ему прямо противна, и хорошо еще, что губернатор, «снисходя» к его образованию и развитию, поручил ему кое-какие статистические работы.

Этим губернатором был знаменитый Тюфяев. Вот тип, которым смело могла бы гордиться дореформенная административная Россия. В Тюфяеве воплотилась вся необузданность произвола, вся грубость власти, все безмерное презрение к личности, которые характеризуют старое доброе время. Он вышел из ничтожества. Разными темными таинственными делами он достиг губернаторства. Целый громадный край был теперь в его руках, край мрачный, забитый и придушенный самою природой. Тюфяев сделал его еще более мрачным, еще более забитым и придушенным. Стихией его был характерный для того времени дикий разгул деспотизма, карнавал властолюбия. Разумеется, все перед ним дрожало, преклонялось, холопствовало. Чиновники подавали ему калоши и отдавали ему жен на подержание. Обыватели прятались куда попало при его проезде через городские улицы. Это был настоящий сатрап-аракчеевец, все гнувший в дугу, на все налагавший свою тяжелую руку. И вот идеалистически настроенному, полному утопических стремлений юности, европейски образованному Герцену пришлось войти в непосредственные сношения с этим человеком другого мира, с этим порождением предательства и сластолюбия, разгульного произвола и дикой жестокости, и даже находиться у него в

подчинении. Герцен, в котором чувство личности и собственного достоинства было сильнее, чем все остальное, который не соглашался отдать человеческую личность в службу чему бы то ни было, – Герцен, этот аристократ ума, органически ненавидящий все пошлое, мещанское, грубое и ставивший на первое место чувство чести, должен был «хоть как-нибудь» да ладить с Тюфяевым, хотя бы «не возражать» на его дикие выходки. Сколько горечи, обиды должно было накопиться в сердце, сколько мрачных, тоскливых мыслей – в голове! Грубое топтание человеческой личности мучило до невыносимой боли, а между тем на руках были путы и ничего нельзя было сделать, ибо не только дело, но и слово протеста посчитали бы государственной изменой. Затаив в душе все, что кипело в ней, Герцен с удивительным тактом своей аристократической натуры сумел все же в конце концов отстоять свою самостоятельность. Он не поддался Тюфяеву, и тот наконец «снизошел к его образованию».

Это было хорошо. Но продолжало томить одиночество. Человека, с которым можно было бы поговорить по душам, он долго не мог найти. Однако через какое-то время судьба улыбнулась ему.

В то время в Вятке, также в ссылке, но по обвинению в растрате казенного имущества, жил знаменитый архитектор Александр Лаврентьевич Витберг, чей неосуществленный проект храма Христа Спасителя в Москве является и до сей поры одним из самых драгоценных памятников русского искусства. Витберг был натурой религиозной, мистической; его влияние на Герцена было подобно влиянию Натальи Александровны.

Изгнанники скоро сошлись и подружились. Витберг был значительно старше и летами, и опытом, но это не помешало сближению. Семейство Витберга еще не приезжало в Вятку, и он поселился в одном доме с Герценом. Зонненберг уже укатил на ирбитскую ярмарку, и друзья вдвоем устроили какую-то артистическую жизнь. Что-то строгое, монастырское царило в их комнатах. Целые дни они проводили в оживленных, нескончаемых беседах, часто вечерами засиживались до глубокой ночи, поверяя друг другу свои думы, свою веру, свои обиды.

«Natalie, – говорил Герцен, – едва указала мне Бога, и я стал веровать. Пламенная же душа артиста переходила границы и терялась в темном, но величественном мистицизме, и я нашел в мистицизме больше жизни и поэзии, чем в философии. Благословляю то время».

Этот темный, величественный мистицизм спасал Витберга от отчаяния и поглощал в себе его глубокую, безысходную тоску.

Ссыльный, опозоренный, признанный чуть ли не вором, жил он в Вятке, зная, но не смея даже допустить в мыслях, даже наедине с самим собою, что его проект – его мечта – неосуществленный сойдет вместе с ним в могилу. К величественному и грандиозному стремилась его душа, и эти святые порывы он воплотил в своем храме. Судьба, казалось, была на его стороне: Александр I признал гений художника, одобрил его планы и чертежи. Приступили к работам, и вдруг все рухнуло от зависти, злобы, клеветы.

«Не здание храма, – говорит Герцен, – хотел воздвигнуть художник, а молитву Богу… Храм должен был состоять из трех отдельных. Первый храм – нижний, храм телесный, тремя сторонами вдается в гору; свет проникает в него с четвертой стороны – восточной. Алтарь освещают огромные стекла с изображением Рождества Христова. Свод поддерживается столбами из гранита. Стены украшены черным, белым и серым мрамором. Барельефы изображают историю и смерть Спасителя и апостолов. В углублении – катакомбы в память всех воинов, павших за отечество. Свод образует фундамент второго храма и завершается катакомбой, в которой должны быть положены воины, павшие за отечество в 1812 году. Внутренние лестницы соединяют нижний храм со вторым».

В темные осенние вечера, в долгие летние ночи Витберг со страстью и упованием посвящал Герцена в тайны и символику своего грандиозного проекта и передавал ему те обстоятельства жизни, которые раздавили и растоптали мечты художника.

Душа Герцена была как нельзя более подготовлена к тому, чтобы мистические страстные речи находили отзвук в ней. Но в ней все же сохранялось место и для дум юности, и для прежних увлечений, высказать которые Витбергу было невозможно.

«Странно, – пишет Герцен, – что нет перехода между новым и старым впечатлениями. Об искусстве, о науках мы никогда не спорили друг с другом, но как скоро доходило до жизни, овраг нас делил и я с прискорбием прятал свою тайну в душу свою, боясь его полезного, опытного мнения».

Герцен молчал о политике, опасаясь разрушить дружбу, и находил, что с этой стороны одиночество его продолжается. «Жизнь, – говорил он о себе, – несмотря на любовь, дружбу, разговор и письма, все же не давала мне достаточно жизни». Он скучал. Ведь еще и теперь, через шестьдесят лет, умный человек не всегда знает, что ему делать в провинции, и не способен переварить пустоты и однообразия ее существования. Поневоле он рвется на огонь, в столицу, где если не очень много хорошего, зато много возможностей хорошего, много ожиданий и не меньше

иллюзий. Цезарь был, вероятно, не совсем искренен, уверяя, что предпочел бы первое место в деревне второму в Риме. Для Цезарей – в деревне нет места…

* * *

Полные отчаяния и тоски письма Натальи Александровны продолжали приходить. Остановимся еще немного на этом романе, исполненном поэзии и правды жизни.

Ее жених – полковник – понравился всем. Сенатор его ласкал, отец Герцена находил, что «лучше жениха нельзя ждать и желать не должно». Княгиня ничего не говорила прямо, но притесняла все больше и торопила дело. Девушка пробовала прикидываться при женихе совершенной дурочкой, думая, что *этим* отстращает его. Нисколько, он продолжал ездить чаще и чаще.

«Вчера, – пишет она, – была у меня Эмилия, вот что она сказала: „Если бы я услышала, что ты умерла, я бы с радостью перекрестилась и поблагодарила бы Бога“. Она права во многом, но не совсем; душа ее, живущая одним горем, поняла вполне страдания моей души, но блаженство, которым ее наполняет любовь, едва ли ей доступно».

Княгиня, несмотря на препятствия, не унывала.

«Желая очистить свою совесть, она призвала священника, знакомого с полковником, и спрашивала его, не грех ли будет отдать меня насильно? Священник сказал, что будет даже богоугодно пристроить сироту. Я пошла за своим духовником и открыла ему все».

Полковник оказался, однако, благороднее, чем его считали. Как ни скрывали и ни маскировали обстоятельств дела, он не мог не увидеть решительного отвращения невесты: он стал реже ездить, сказался больным, заикнулся даже о прибавке приданого. Княгиня очень рассердилась, но пошла и на это унижение: она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, полковник не ждал, потому что после нее совершенно скрылся.

Месяца два прошли тихо. Вдруг разнеслась весть о переводе Герцена во Владимир. Тогда княгиня сделала последний отчаянный опыт сватовства. У одной из ее знакомых был сын – офицер, только что возвратившийся с Кавказа; он был молод, образован и весьма порядочный человек. Княгиня, откинув спесь, сама предложила его сестре «прозондировать» брата, не хочет ли он посвататься.

Он поддался на внушения сестры. Но Наталье Александровне не хотелось еще раз играть ту же скучную и отвратительную роль;

она, видя, что дело принимает серьезный оборот, написала новому жениху письмо, где прямо, открыто и просто говорила ему, что любит другого, доверялась его чести и просила не увеличивать ее страдания. Офицер очень деликатно устранился…

– Решительно, с этой девчонкой нет никакого сладу! – в раздражении произнесла княгиня, услышав об исходе сватовства.

«Надо было положить этому конец…» – пишет Герцен.

В исходе 1837 года Герцен был, по Высочайшему соизволению, переведен из Вятки во Владимир, на службу в канцелярию губернатора Куруты – превосходнейшего человека. 29 декабря в сумерки он выехал из города. Семейство Витберг провожало его. Витбергу же были адресованы и его первые письма с дороги, первые письма человека, почувствовавшего, что он опять если и не свободен, то на дороге к свободе. Он писал из Полян, находящихся в 46-ти верстах от Нижнего Новгорода:

«Сюда приехал я в первом часу. Итак, обнимемся, Александр Лаврентьевич и все ваши! Бот вы все перед глазами. А Эрн отдал ли яблоки пуще всего? Я сижу в пресквернейшей избе, наполненной тараканами, до которых m-me Witberg не большая охотница, и пью шампанское, до которого m-r Witberg не охотник. Оно не замерзло, и я имел терпение везти его от Вахты, а дурак станционный смотритель спрашивал: „Виноградное, что ли-с?“ „Нет, из клюквы!“ – сказал я ему, и он будет уверять в этом проезжих. Из Нижнего буду писать comme il faut,[12] а здесь ни пера, ничего, зато дружбы к вам много, много. Перед вами вспомнил только кого?

Sapienti sat. Александр».

(1 января 1838 года, Нижний Новгород).

«Еще раз поздравляю вас, Александр Лаврентьевич, с новым годом; как вы провожаете его? Я живу одиноко в гостинице, с вечной одной мечтой и временами запивая с вами вином слезу горячую. Наша встреча была важна. Вы, как Вергилий, взявший вести Данта, сбившегося с дороги; жаль, что вы поступили не совсем так, как Вергилий, – он довел Данта до Беатриче, а вы должны были покинуть меня на Вахте. Извините, что кончил глупостью. Вы понимаете, – ну, стало, довольно. Прочтите мое письмо к Эрну, – оно напомнит вам меня… Прощайте!»

(3 января, Владимир).

«Так, как христианин останавливается в благоговейном трепете, не входя в храм, на паперти, так и я остановился перед Москвою. Еще нога пилигрима не так чиста, чтобы коснуться святого города. Москва! Москва!»

Глава VI. Владимир на Клязьме

Герцен переехал во Владимир и там не утерпел, чтобы не побывать в Москве, рискуя, быть может, солдатчиной, быть может, Сибирью. Наконец-то, после утомительно долгой разлуки, увиделся он с невестой. Полной поэзии оказалась встреча.

«Natalie, – рассказывает он, – вошла, где я ждал ее, вся в белом, ослепительно прекрасна; три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты, и выражение. „Это ты“, – сказала она своим тихим, кротким голосом… Мы сели на диван и молчали. Выражение счастья в ее глазах доходило до страдания. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, смешивается с выражением боли, потому что и она мне сказала: „Какой у тебя измученный вид!“ Я держал ее руку, на другую она облокотилась, и нам нечего было друг другу сказать… короткие фразы, два-три воспоминания, слова из писем, пустые замечания. Сердце было слишком полно и не находило слов. Потом взошла нянюшка, говоря, что пора, и я встал, не возражая, и она меня не останавливала: такая полнота была в душе. Больше, меньше, короче, дольше, еще – все это исчезло перед полнотой настоящего».

Герцен уехал с твердым намерением похитить свою невесту, раз старики и старухи не соглашались отдать ее ему добром. Она также не видела другого исхода, и благодаря помощи друзей, а отчасти и посторонних заинтересованных романом план удался как нельзя лучше: в мае 1838 года состоялась свадьба.

Вечером в день венчания Герцен написал письмо отцу, просил его не сердиться на конченное дело и – «так как Бог соединил нас» – простить. Иван Алексеевич и в эту драматическую минуту остался верен себе. Он обыкновенно писал сыну несколько строк в неделю, теперь он не ускорил ни одним днем ответа и не отдалил его, даже начало письма было такое же, как всегда:

«Письмо твое, – сообщал Иван Алексеевич, – от 10 мая я третьего дня в пять с половиною получил и из него не без огорчения узнал, что Бог соединил тебя с Наташей. Я воле Божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушениям, которые Он ниспосылает на меня. Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю тебе, что я к прежнему твоему окладу, тысяче рублей серебром в год, не прибавлю ни копейки».

Пришлось покориться и подумать об экономии. Молодость, впрочем, города берет, как же ей не справиться с материальными затруднениями?

«У нас, – вспоминает Герцен, – не было ничего, да, решительно ничего: ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы сидели под арестом в маленькой квартире, потому что не в чем было выйти. Матвей из экономических видов сделал отчаянный шаг превратиться в повара, но кроме бифштекса и котлет он не умел ничего делать и потому держался больше вещей, по натуре готовых: ветчины, соленой рыбы, молока, яиц, сыру и каких-то пряников с мятой. Обед был для нас бесконечным источником смеха: иногда молоко подавалось сначала – это значило суп, иногда после всего вместо десерта… Так бедствовали мы и пробились с год времени. Наконец и отцу моему надоело брать нас, как крепость, голодом; он, не прибавляя ничего к окладу, стал присылать денежные подарки».

Владимирский период в жизни Герцена – это период тихого семейного счастья, без тревог и треволнений, медовый месяц любви. Постороннему нечего останавливаться на нем, как нечего ему прислушиваться к разговору влюбленных; у них свои радости, свои горести, даже язык у них свой. Герцен чувствовал себя добрым, сильным, готовым, как он сам выражается, «на победу и одоление» и вместе с тем совершенно спокойным, так как пока ни побеждать, ни одолевать было некого. Он пишет, например, Витбергу:

«Что касается до моего дела, более перевода во Владимир ничего нельзя было сделать. Государь сказал: „Я для них назначил срок“.

Но теперь что же мне Владимир – угол рая, и ежели человеку надобна земная опора, не все ли равно, где она – на Клязьме или на Эльбе? Я до того счастлив, что мне иногда становится страшно. За что же провидение меня так наградило? Неужели за мои мелкие страдания? В самом деле, как необъятно наше блаженство, даже все эти непреоборимые препятствия исчезли, растаяли от чистого огня любви чистой. Папенька и Лев Алексеевич с первой же почтой писали мир и поздравление, и хотя, кажется, папенька хочет немножко меня потеснить материальными средствами, но это больше отцовское наказание, временное, нежели сердце. Еще раз прощайте. Целую и обнимаю вас».

Или:

«Ну что я вам скажу о себе? Счастлив, сколько может человек быть счастлив на земле, сколько может быть счастлив человек, имеющий душу, раскрытую и светлому, и высокому и симпатичную к страданиям других.

Наташа – поэт безумный, неземной, в ней все необыкновенно: она дика, боится толпы, но со мною высока и изящна. Кстати, я

хотел вам написать, она тоже, как вы, не любит смех, никогда не произносит напрасно имя Бога и не любит Гогартовых карикатур. Это напомнит вам нашу жизнь совокупную. А я думаю, подчас вам сладко вспоминать мрачные 1836 и 1837 годы: и в дальней Вятке вы нашли человека, душевно преданного, с пламенною любовью к вам».

Светлые и безмятежные дни проводили Герцены в маленькой квартире в три комнаты у Золотых ворот, а потом в огромном доме какой-то вдовы-княгини.

«Здесь была большая зала, едва меблированная… Иногда нас брало такое ребячество, что мы бегали по ней, прыгали по стульям, зажигали свечи во всех канделябрах, прибитых к стене, и, осветив залу a giorno,[13] читали стихи. Порядок не торжествовал в нашем доме».

И со всем этим ребячеством жизнь была полна глубокой серьезности. Заброшенные в маленьком городке, тихом и смирном, муж и жена были вполне отданы друг другу. Изредка приходила весть о ком-нибудь из друзей, несколько слов горячей симпатии, и потом опять одни, совершенно одни.

«Но в этом одиночестве грудь наша, – говорил Герцен, – не была замкнута счастьем, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви, мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное. Только в том и была разница, что Natalie вносила в наш союз элемент тихий, кроткий, грациозный, элемент молодой девушки со всей поэзией любящей женщины, а я – живую деятельность, мое semper in motu,[14] беспредельную любовь да сверх того путаницу серьезных идей, смеха, опасных мыслей и кучу несбыточных проектов. Мои желания остановились. Мне было довольно, я жил в настоящем, ничего не ждал от завтрашнего дня, беззаботно верил, что и он ничего не возьмет. Личная жизнь не могла больше дать, это был предел; всякое изменение должно было с какой-нибудь стороны уменьшить его».

К довершению семейной идиллии у Герцена в июне 1839 года родился сын-первенец, Александр, теперь профессор физиологии в Лозанне.

* * *

Глядя на эту картину полного семейного счастья, кто бы мог подумать, что пройдет немного лет, и вместо единения появится разлад, широкая трещина проляжет через привязанность, а сама идиллия рассеется как дым. Случилось, однако, так, и опять тяжелый вопрос: «кто виноват?» – встает перед нами.

Заглянем на несколько лет вперед, чтобы не возвращаться более к этой грустной теме. Уже в 1843 году Татьяна Пассек заметила, что «жизнь Герцена, по-видимому счастливая, шла не совсем светло». Наталья Александровна, обладая слабым здоровьем, кроме того, постоянно находилась под гнетом сомнения в любви к ней мужа; это порой приводило к болезненным сценам, которые мучили Герцена. Он связывал их то с физическим расстройством жены, то с ее воспитанием, то с характером, с привычкой сосредоточиваться на печальных мыслях, то весь вред находил в том, что она удаляется от общества, ведет отшельническую жизнь; обвинял себя в том, что часто оставляет ее одну ради поглощающих большую часть его времени умственных занятий, в том, что еще прежде, по беспечности, не изменил ее душевного настроения и не сумел достаточно счастливо устроить ее жизнь. Часто, заставая жену в слезах, вначале он старался ее развлекать, успокаивал, скрывал свое огорчение, наконец терял терпение и то уходил из дому в каком-то горячечном состоянии, то прибегал к объяснению, – а объяснения почти никогда не приводили к желаемому результату. Наталья Александровна плакала, говорила, что она, всегда больная, страждущая, тоскующая, портит ему жизнь, что она ему не нужна и лучше было бы ему от нее избавиться, лучше бы ей умереть; что он, конечно, потосковал бы о ней, а потом – успокоился. Герцен уверял ее в своей любви, говорил, что все ее сомнения – тени, призраки. Наталья Александровна, заливаясь слезами, признавалась, что эти сомнения не оставляли ее с первых дней их жизни вместе, а она только скрывала их от него; что они рождались в ней со времени их первых встреч и она тогда же поняла, что его натуре может соответствовать натура более энергичная, чем ее. Перефразируя известные стихи, можно сказать, что в одной и той же упряжке нельзя держать «орла и трепетную лань». Материнское, нежное чувство Натальи Александровны находило слишком мало применения в отношении ее мужа. И она все больше и больше понимала, что она не нужна. С одним из эпизодов этого разлада мы еще встретимся, пока же несколько строк из воспоминаний Татьяны Пассек:

«При блестящем уме и редко добром сердце Саша по распущенности и с детства вкоренившейся привычке, не долго

думая, делать все, что хотелось, не заботясь, как оно отзовется другим и даже самому себе, – впадал иногда в такие промахи и ошибки, которые разрушительно отзывались не только лично на нем, но и на его семействе. Вследствие этой черты его характера в Москве он – увлекся… не по сердечному чувству… раскаивался, жалел, надеялся, что все сойдет с рук даром, но оно не сошло, а сделалось источником долгих душевных страданий.

Наташа хотела простить, забыть и – не могла.

Этого он не ждал… Она была огорчена – оскорблена. Огорчение ее стало принимать все более и более широкие размеры. Герцен терялся перед ее горем, перед ее слезами, чувствуя себя виноватым, просил, умолял, говорил ей: «Я сохранил к тебе любовь во всей ее светлости».

Обвиняя себя, он писал, мысленно обращаясь к жене: «Я поднимусь, – а рубцы-то, нанесенные мной? Бесконечная любовь носит в себе и бесконечное чувство самодостоинства. Она плачет не о факте, а об утраченном счастии. Этот пятый год моей женитьбы раздавил последние цветы юности, последние упования; людям нравится во мне широкий взгляд, человеческие симпатии, теплая дружба, добродушие – и не видят, что fond всему – слабый характер. Во мне нет твердой, хранительной силы. Мечты, мечты мои! – где вы? Последние листы облетели, и призвание общее, и призвание частное – все оказалось призраком, одни сомнения парят в душе, и слезы о веке, о стране, о дружбе, о себе, о ней – grâce, pour soi même![15]»

Измученный, он обращался к друзьям за сочувствием, за советом и находил в сочувствии – суд, в советах – предложения, не сообразные ни с его характером, ни с больным состоянием его духа, и упреки, если им не следовал.

Странно и оскорбительно бывает участие большей части людей, даже и любящих нас.

Да, «жизнь учит нас мученьями, годами и событиями».

Глава VII. Москва. Петербург. Новгород

«В тридцатых годах, – говорит Герцен, – убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новую жизнь».

«В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова и исчез. В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные, определившиеся. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время кружка Станкевича. Его самого я не застал – он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского стали обращать на себя внимание всех. Возвратившись, мы помирились. Бой был неравен с обеих сторон; почва, оружие и язык – все было разное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел нам черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет».

В Москву Герцен возвратился в 1840 году, после пяти лет отсутствия. Здесь был уже Огарев, вокруг которого группировались члены кружка Станкевича. Бакунин и Белинский стояли во главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках, и с юношеской нетерпимостью провозглашали: нет философа, кроме Гегеля, и мы – пророки его. Герцена приняли радушно, с почетным снисхождением, как человека пострадавшего, с готовностью произвести его в свои, но под тем непременным условием, чтобы он признал гегельянство за догмат и преклонился перед ним. Прежде чем признать и преклониться, он стал изучать, и страстное одушевление товарищей мало-помалу передалось и ему.

В наше время нет философа, нет системы, которые имели бы такое всеобщее значение, какое имели Гегель и гегельянство пятьдесят лет тому назад. Ни Дарвин, ни Маркс, ни Спенсер не могут идти в сравнение. Они влияют лишь на известные умы, на известные темпераменты. Гегель подчинял себе одинаково и мистика Киреевского, и положительного скептика Герцена, и нервного впечатлительного Белинского, и флегматика Огарева. В гегельянстве есть стихийная сила, какая – увидим ниже.

Толковали о Гегеле беспрестанно; нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», в «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят с бою отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее по себе бытии». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до выпадения листов в несколько дней.

Сам язык стал совершенно особенный, «птичий», как выразился астроном Перевощиков.

«Никто, – говорит Герцен, – не отрекся бы в те времена от подобной, например, фразы: „Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте“.

Язык портился, одновременно совершалась другая ошибка, более глубокая.

«Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля со студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все было совершенно искренне. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом, и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном проявлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к „гемюту“[16] или к «трагическому в сердце»…

То же в искусстве. Знание Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным; зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, полагаю, за его превосходные

напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество Божие» – «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, по дороге и политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер – поэт субъективный, но его субъективность объективна, и наоборот, все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться».

Не хотели знать и понимать того, что «Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гёльдерлина, который спас под полой свою „Феноменологию“, когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи „о палаче и о смертной казни“…»

Особенно вкривь и вкось толковалась фраза «Все действительное разумно», с помощью которой немецкие консерваторы стремились примирить философию с политическим бытом Германии, оправдать реакцию и взнуздать молодежь, которая все еще нет-нет да и «бродила». «Все действительное разумно» означало лишь то, что все имеет достаточную причину для существования, что в жизни нет ничего случайного. Гегель имел полное право выразиться так, как он выразился, потому что единственная признаваемая им причина бытия есть разум. *Разумно* в этом случае означает – «исходит от разума». Не греша против духа гегелевской логики, можно перевернуть фразу и сказать: все существующее есть стадия развития разума, проявление его жизни. На каком же основании немецкие консерваторы толковали «разумно» как «умно» и «необходимо», а иногда и «вечно» – это их дело. Несомненно, что иной раз самому старику Гегелю бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность пресытившихся, а подчас и не совсем честных учеников своих.

Герцен проштудировал Гегеля, но в кабалу к нему не пошел.

Не сразу – это хорошо видно из его философской переписки с Огаревым – он понял, в чем истинная суть гегельянства, не сразу нашел в нем оправдание своих стремлений. В сущности, на каждой странице своей философии Гегель твердит и повторяет, что в жизни нет ничего вечного, несомненного, абсолютного, что все существующее – только переходная стадия развития. Остановка – это смерть. В своем известном этюде «Idéalisme anglais» Тэн совершенно справедливо замечает: «Идея развития (Entwickelung) или того, что мы называем „эволюция“, была основной идеей Гегеля. Вся его философия служит ей, вся его философия – ее применение». Этой своей идеей гегельянство завоевало себе мыслящий мир; благодаря ей оно породило широкое умственное движение и не умерло до сей поры. На ее основе впервые наукообразно, с последовательностью и величием гениальной мысли, была сформулирована система, являющаяся лучшим приобретением XX века.

Как не понимали этого? Одни потому, что не хотели понимать, другие искали оправдания для своего удаления от жизни, третьих смущало учение Гегеля о личности. В этом последнем пункте он на самом деле, вольно или невольно, напутал больше всего. Какова роль личности в жизни? Может ли она что-нибудь делать, должна ли она что-нибудь делать? Ответы давались различные, всякий принимал тот, который был ему наиболее по душе.

Когда Герцен привык к языку Гегеля и овладел его методой, он разглядел, что Гегель гораздо ближе к его воззрениям и к его темпераменту, чем к воззрениям своих правоверных последователей. Он – реформатор в первых своих сочинениях, он – реформатор «везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая „бранденбургские ворота“.

«Философия Гегеля, – заключает Герцен, – необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира преданий, переживших себя. Но она может с намерением быть дурно формулирована.

Даже без намерения.

Белинский, например, самая деятельная, порывистая, диалектически страстная натура бойца, проповедовал в начале сороковых годов индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед нравственным приличием, ни перед мнением других, чего так страшатся люди слабые и не самобытные.

– Знаете ли, что с вашей точки зрения, – сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, – вы можете

доказать, что самодержавие, под которым мы живем, разумно.

– Без всякого сомнения, – отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Этого, – рассказывал Герцен, – я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, и круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, договорить, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми».

Могло ли долго продолжаться такое страшное непонимание? Разумеется, нет. Белинскому нужно было лишь время, чтобы одуматься, и по своему обыкновению он первый протянул руку…

«Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург, – продолжает Герцен, – в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна; он понимал, что воззрения Белинского были переходной болезнью, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча была сначала холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я – мы не были большие дипломаты; в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о бородинской годовщине. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: „Ну, слава Богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать… ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться. „Это автор статьи о бородинской годовщине?“ – спросил его на ухо офицер. „Да“. – „Нет, покорно благодарю“, – отвечал он. Я слышал все и не мог вытерпеть, – я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: „Вы благородный человек, я вас уважаю…“ Чего же вам больше?“ С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука об руку».

Белинский, Грановский – вот люди, которых неизменно ценил Герцен и, в сущности, первый оценил их как следовало.

«В этом застенчивом человеке, – говорил он, например, о Белинском, – в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская

натура! Да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать; ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он говорил не хорошо, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла: бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем он говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался глубоко огорченный, униженный физической слабостью. Как я любил и как я жалел его в эти минуты!»

* * *

Пребывание Герцена в Петербурге закончилось несколько неожиданно. Однажды уже возвращенный из ссылки, раз помилованный и даже вновь зачисленный на службу, он был, однако, так же далек от гражданского благонравия, как и раньше. Случилась глупая история: какой-то будочник ограбил прохожего. Герцен на эту тему разговаривал, описал даже случай в письме к отцу. Этого было достаточно, чтобы III Отделение немедленно вмешалось в дело. Начались свидания с Сахтынским, Дубельтом, Бенкендорфом, и в результате Герцен должен был отправиться в Новгород *советником губернского правления* и в то же время – *под надзор полиции.*

Вообразить его себе в мундире советника подписывающим бумаги довольно трудно, и только он сам может помочь нам сделать это. Приведу из его воспоминаний несколько отрывков, полных такой желчи и такой беспощадной иронии, что сам Щедрин охотно подписался бы под ними.

«Когда я присмотрелся к делам губернского правления, я увидел, что мое положение не только очень неприятно, но чрезвычайно опасно. Каждый советник отвечал за свое отделение и делил ответственность за все остальные. Читать бумаги по всем отделениям было решительно невозможно, надо было подписываться на веру. Губернатор, последовательный своему мнению, что советник никогда не должен советовать, подписывал противно смыслу и закону первый после советника того отделения, по которому было дело. Лично для меня это было превосходно; в его подписи я находил некоторую гарантию,

потому что он делил ответственность и потому еще, что он часто с особенным выражением говорил о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей других советников, то они мало успокаивали. Люди эти были закаленные старые писцы, дослужившиеся десятками лет до советничества, жили они одной службой, т. е. одними взятками. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни в дележе общих доходов, ни сам грабить, они стали на меня смотреть как на непрошеного гостя и опасного свидетеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядели, что дружба между мной и губернатором была очень умеренная.

К губернатору я отправился вскоре по приезде в Новгород – перемена декораций была удивительная. В Петербурге (я его и там видел) губернатор был в гостях, здесь – дома; он даже и ростом, казалось мне, был побольше в Новгороде. Не вызванный ничем с моей стороны, он счел нужным сказать, что не терпит, чтобы советники подавали голос и оставались при своем мнении, что это задерживает дело; что если что не так, то можно переговорить, а как на *мнения* пойдет, то тот или другой должен подать в отставку. Я, улыбаясь, заметил ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка – единственная цель моей службы, и прибавил, что, пока горькая необходимость заставляет меня служить в Новгороде, я, вероятно, не буду иметь случая подавать своих мнений.

С подчиненными – столоначальниками – дело обстояло не лучше. Я сделал многое для того, чтобы привязать их, обращался учтиво, помогал им денежно и довел только до того, что они перестали меня слушаться; они только боялись советников, которые обращались с ними, как с мальчишками, и стали вполпьяна приходить на службу. Это были беднейшие люди, без всякого образования, без всяких надежд; вся поэтическая сторона их существования ограничивалась маленькими трактирами и настойкой. По своему отделению, стало быть, приходилось тоже быть настороже».

Герцену досталось II отделение. Здесь рассматривались паспорта, всякие циркуляры, дела о злоупотреблениях помещичьей власти, о раскольниках, фальшивых монетчиках и людях, находящихся под полицейским надзором, следовательно, между прочим, и о самом господине советнике.

«Нелепее, глупее, – продолжает он свой рассказ, – ничего нельзя себе представить; я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а между тем это сущая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий вторым отделением, свидетельствовал каждые три месяца рапорт

полицмейстера о *самом себе* как о человеке, находящемся под полицейским надзором. Полицмейстер из учтивости в графе о поведении ничего не писал, а в графе занятий ставил: «Занимается государственной службой».

«С полгода вытянул я лямку в губернском правлении, тяжело было и крайне скучно. Всякий день в одиннадцать часов утра надевал я мундир, прицеплял стальную шпажонку и являлся в присутствие. В двенадцать приходил военный губернатор; не обращая никакого внимания на советников, он шел прямо в угол и там ставил свою саблю, потом, посмотревши в окно и поправив волосы, он подходил к своим креслам и кланялся присутствующим. Едва вахмистр с страшными седыми усами, стоявшими перпендикулярно к губам, торжественно отворял дверь и бряцанье сабли становилось слышно в канцелярии, советники вставали и оставались, стоя в согбенном положении, до тех пор, пока губернатор кланялся. Одно из первых действий оппозиции с моей стороны состояло в том, что я не принимал участия в этом соборном восстании и благочестивом ожидании, а спокойно сидел и кланялся ему тогда, когда он нам кланялся.

Больших прений, горячих рассуждений не было; редко случалось, что советник спрашивал предварительно мнение губернатора, еще реже обращался губернатор с деловым вопросом к советнику. Перед каждым лежал ворох бумаги, и каждый писал свое имя – это была фабрика подписей.

Помня знаменитое изречение Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердием и занимался делами насколько было нужно, чтобы не получить замечания и не попасть в беду. Но в моем отделении было два рода дел, на которые я не считал себя вправе смотреть так поверхностно: это были дела о раскольниках и злоупотреблениях помещичьей власти».

«Дела о раскольниках были такого рода, что всего лучше было совсем не подымать их вновь; я их просмотрел и оставил в покое. Напротив, дела о злоупотреблениях помещичьей власти следовало сильно перетряхнуть; я сделал все что мог и одержал несколько побед на этом вязком поприще, освободил от преследования одну молодую девушку и отдал под опеку одного морского офицера… Моряк, заранее уверенный, что дело о нем кончится благополучно, как громом пораженный, явился после указа в Новгород. Ему тотчас сказали, как что было; яростный офицер собирался напасть на меня из-за угла, подкупить бурлаков и сделать засаду, но, непривычный к сухопутным кампаниям, мирно скрылся в какой-то уездный город… Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части».

С каждым днем потребность уйти из канцелярского мира

становилась сильнее. Наконец терпение лопнуло.

«Раз, – продолжает Герцен, – в холодное зимнее утро приезжаю я в правление, в передней стоит женщина лет тридцати, крестьянка; увидавши меня в мундире, она бросилась передо мной на колени и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Барин ее Мусин-Пушкин ссылал ее с мужем на поселение, их сын лет десяти оставался, она умоляла дозволить ей взять с собою дитя. Пока она мне рассказывала дело, вошел военный губернатор, я указал ей на него и передал ее просьбу. Губернатор объяснил ей, что дети старше десяти лет оставляются у помещика. Мать, не понимая глупого закона, продолжала просить, ему было скучно; женщина, цепляясь за его ноги, рыдала, и он сказал, грубо отталкивая ее от себя: „Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорят, что я ничего не могу сделать, что ж ты пристаешь!“ После этого он пошел твердым и решительным шагом в угол, где ставил саблю…

И я пошел… с меня было довольно… разве эта женщина не приняла меня за одного из них? Пора кончить комедию.

– Вы нездоровы? – спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи.

Болен, – отвечал я, – встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении. Потом я подал в отставку «за болезнию». Отставку мне Сенат дал, присовокупив к ней чин надворного советника; но Бенкендорф с тем вместе сообщил губернатору, что мне запрещен въезд в столицы, а велено жить в Новгороде».

Не надолго, однако: в июле 1842 года Герцену, по хлопотам Огарева, разрешили переехать в Москву.

* * *

Такова внешняя сторона жизни Герцена в новгородский период. Что же делалось в уме, в сердце? Гегель все это время продолжал оставаться главным предметом изучения; сущность его великой философии мало-помалу освободилась от скорлупы тяжелой терминологии, схоластических периодов, двусмысленных изречений. Сердцевина стала ясной: Герцену подсказал ее темперамент. По Гегелю всякое явление жизни, всякое религиозное верование, всякое государственное учреждение, всякий обычай, совершенно так же, как и любая геологическая эпоха, были ничем иным, как «исторической категорией», ничем иным, как звеном в бесконечной цепи

развития.

Подготовительный период развития кончился. Целых шесть лет в Герцене неумолкаемо била мистическая струя, и хотя никогда не давал он ей простору, но все же присутствие ее заметно во всех его думах, разговорах. Одиночество и тоска ссылки, убежденная вера жены, страстные порывы Витберга – все это подчиняло его себе. Но неужели «Wesen des Christenthums»[17] Фейербаха могла оказать такое сильное влияние? Дайте эту книгу религиозному человеку; все, что он может сделать с ней, – это с отвращением бросить в угол. Но в том-то и дело, что Герцен был совершенно нерелигиозной натурой: его скептический ум и громадная самоуверенность виноваты, быть может, в этом. Целых шесть лет он потратил на то, чтобы *доказать разумом* бессмертие души и бытие личного Бога… Он не пришел ни к чему; схоластики занимались тем же тысячу лет и тоже не пришли ни к чему.

Надо было верить. Он не мог, искал, мучился и постоянно чувствовал неловкость. Когда ему приходилось встречаться с истинно верующими людьми, он как умный человек не мог не заметить, что они тверже стоят на своей почве безусловного признания, чем он на своей – метафизических тонкостей. Фейербах только помог ему выйти из этой путаницы и объяснил, что в сущности означают такие казуистические изречения Гегеля, как, например, «*личность* умирает, но *душа* – бессмертна»…

Гейне делит людей на «эллинов» и «иудеев». Первые – люди земли, понимающие ее красоту и способные наслаждаться ею, вторые отданы в жертву своему порыву к неземному, своему исканию безусловно совершенного и безусловно истинного. У «эллина» ясный, здоровый ум, чуткое, открытое для внешних впечатлений сердце; «иудей» тоскует, и эта внутренняя тоска, эта постоянная неудовлетворенность закрывают от него красоту мира…

Герцен был чистым «эллином». Из своих исканий и сомнений он вышел чистым позитивистом. Впоследствии он видел в мистиках лишь страдальцев, не сумевших преобразовать свое страдание в протест и борьбу, но впустивших его глубоко в свое сердце. Он мог уважать их, но он не любил, а только жалел.

«Я, – пишет он например – встретил в жизни много мистиков в разных родах, от Битберга и последователей Товянского, принимавших Наполеона за военное воплощение Бога и снимавших шляпу, проходя мимо Вандомской колонны, до забытого теперь „Мапа“, который сам мне рассказывал свое свидание с Богом, случившееся на дороге между Монморанси и Парижем. Все они большею частью люди нервные, действовали на

нервы, поражали фантазию и сердце, мешали философские понятия с произвольной символикой и не любили выходить на *чистое поле* логики».

Но, разумеется, такой исход из сомнений не мог благотворно отразиться на семейной жизни. Наталья Александровна, натура религиозная, экзальтированная, чудная в минуты самоотречения, тяжелая в обыденные, не приспособленная для счастья и инстинктивно ищущая страдания как исцеляющей и искупляющей силы, не могла не чувствовать, что ее роль в жизни «кумира» – мужа – сходит на нет. Перед ними лежали уже разные дороги. Она любила Герцена по-прежнему, быть может, сильнее прежнего, но она чувствовала уже свою «духовную» ненужность для него. Пять лет прожили вместе, но темперамент, натура оказались сильнее. Победили *они,* не *она*…

«Раз, – рассказывает Герцен, – возвратился я домой поздно вечером; она была уже в постели, я взошел в спальную. Я ходил молча по комнате, перебирая слышанную мною неприятную новость, вдруг мне показалось, что Natalie плачет; я взял ее платок – он был совершенно измочен слезами. „Что с тобой?“ – спросил я, испуганный и потрясенный. Она взяла мою руку и голосом, полным слез, сказала мне: «Друг мой, я скажу тебе правду; может, это самолюбие, эгоизм, сумасшествие, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебе скучно – я понимаю это, я оправдываю тебя, но мне больно, больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебе меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты: ты чувствуешь бедность твоей жизни, и в самом деле – *что я могу сделать для тебя?»*

Я был похож на человека, которого вдруг разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чем он совершенно проснулся, что-то страшное: он уже напуган, дрожит, но не понимает, в чем дело. Я был так вполне покоен, так уверен в нашей полной глубокой любви, что и не говорил об этом; это было великое *подразумеваемое* всей жизни нашей; покойное сознание, беспредельная уверенность, исключающая сомнение, даже неуверенность в себе – составляли основную стихию моего личного счастья. Покой, отдохновение, художественная сторона жизни – все это было как перед нашей встречей на кладбище, 9 мая 1838 г., как в начале владимирской жизни – в ней, в ней и в ней!

Мое глубокое удивление, мое огорчение сначала рассеяли эти тучи, но через месяц, через два они стали возвращаться. Я успокаивал ее, утешал; она сама улыбалась над черными призраками, и вновь солнце освещало наш уголок; но только что

я забывал их, они опять подымали голову, совершенно ничем не вызванные, и, когда они проходили, я вперед боялся их возвращения.

Таково было расположение духа, в котором мы, в июле 1842 года, переехали в Москву».

В сущности, только с 1842 года, то есть с переезда в Москву, началась литературная деятельность Герцена. Годы искания и брожения прошли; принимаясь теперь за перо, Герцен уже твердо знал, что ему писать и во имя чего писать.

В Москве он опять попал в кружок, в котором сосредоточились все лучшие интеллигентные силы России того времени. Огарев, правда, большую часть времени находился за границей, но его место занял Грановский. Из Петербурга наезжал Белинский.

«Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых, – вспоминал много лет спустя Герцен, – я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и аристократического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил: революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое».

Сороковые годы – самые богатые и памятные в умственном развитии России. Я уже говорил раньше, что это – годы перелома. Безбрежные, как море, неопределенные, как очертания предметов в сумерки, романтические мечтания закончились. Мысль выбралась на широкую, ясную дорогу и впервые сознала, куда она идет и что ей нужно. Она возненавидела крепостное право, повернулась за любовью и вдохновением к народу и дала решительную битву матери всех пороков – национальному самодовольству. Нужно ли говорить, что среди людей, заслуги которых особенно велики, Белинский, Герцен и Грановский занимают первое место. Каждый из них внес свое в общее дело, они дополняли друг друга.

Личности Грановского нам нельзя миновать, и мы сейчас же познакомимся с ней.

Грановский был одарен удивительным тактом сердца. В нем все было так далеко от не уверенной в себе раздражительности, так чисто, так открыто, что с ним чувствовали себя необыкновенно легко. Он не стеснял дружбой, а грел ею, вдохновлял ею. Никто не помнит, чтобы Грановский когда-нибудь, хоть раз, в письме или разговоре дотронулся до тех нежных, бегущих от света и шума сторон души, которые есть у каждого человека, жившего в самом деле. Он был «добрый» в широком, лучшем смысле этого слова.

«В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединений многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые кружки, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым личностям нашего круга».

Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительном нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, в покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном глубоком протесте против всякого насилия. Не только слова его действовали, но и его молчание: мысль его, даже не будучи высказана, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть. В мрачную годину гонений на университет Грановский сумел сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочетались женская нежность, мягкость форм и какой-то особенный дух примирения.

«Грановский, – говорит Герцен, – напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников времен Реформации, не тех бурных, грозных, которые в гневе своем чувствуют вполне свою жизнь, как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызения совести у самих палачей. Таков был Колиньи, лучшие из жирондистов, и действительно Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист и монтаньяр».

Развитие Грановского шло мирно, покойно, органически. Воспитанный в Орле, он попал в Петербургский университет. Получая от отца мало денег, он с молодых лет должен был писать «по порядку» журнальные статьи. Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было. После курса Педагогический институт послал его в Германию. Вернувшись оттуда в 1839 году, Грановский начал читать свои знаменитые публичные лекции по средневековой истории Франции и Англии. «Лекции Грановского, – сказал Чаадаев, выходя после третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом, – имеют историческое

значение». Это совершенно справедливо. Грановский сделал из аудитории гостиную, место свидания, встречи всего beau monCTa. Но для этого он не прикрашивал историю, не налагал на нее ни румян, ни белил – совсем напротив: его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая была для него так естественна, от отсутствия сентенций à la française, в которых ставятся огромные точки в крошечных i вроде нравоучений после басни. Излагая события, художественно группируя их, он говорил ими, так что мысль, не высказанная, но совершенно ясная, представлялась слушателю очень знакомой, почти его собственной мыслью.

«Заключение первого курса, – рассказывает Герцен, – было для него настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый благодарил публику – все вскочило в каком-то опьянении: дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавших сквозь слезы: „Браво! Браво!“. Выйти не было возможности. Грановский, бледный как полотно, сложа руки, стоял, слегка склоня голову; ему хотелось сказать еще несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились; студенты построились на лестнице – в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался измученный в совет: через несколько минут его увидели снова выходящего из совета, и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады и изнемогая от волнения… Я увидел его, бросился ему на шею, и мы заплакали».

Статьи Белинского, Герцена, лекции Грановского – все это будило, тревожило, звало вперед. Все трое работали дружно, двигались в одном направлении. В каком? Вдохновленный чтениями Грановского Герцен писал о них из Москвы:

«Главный характер чтений Грановского: чрезвычайно развитая человечность, сочувствие, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствие, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь к возникающему, которое он радостно приветствует, и любовь к умирающему, которое он хоронит со слезами. Нигде, ничему не вырвалось слова ненависти в его чтениях; он проходил мимо гробов, вскрывал их – но не оскорбил усопших. Дерзкая мысль поправлять царственное течение жизни человечества далека была от его наукообразного взгляда; он везде покорялся объективному значению событий и стремился только раскрыть смысл их. Мне

кажется, что именно этот характер преподавания возбудил такое сильное участие общества к чтениям Грановского. Уметь во все века, у всех народов, во всех проявлениях найти с любовью родное, человеческое, не отказаться от братии, в каком бы они рубище ни были, в каком бы неразумном возрасте мы их ни застали, видеть сквозь туманные испарения временного просвечивание вечного начала, т. е. вечной цели, – великое дело для историка».

Отсутствие ненависти к Западу и национального самохвальства вместе с искренней, горячей любовью к науке, знанию, мысли – вот что одушевляло и самого профессора, и его блестящую аудиторию. Грановского обвиняли в пристрастии к Западу; он отвечал на это: «Я взялся читать часть его истории и не вижу, почему должен читать ее с ненавистью. Запад кровавым потом выработал свою историю, плоды ее достались нам почти даром, *нет права не любить ее».*

Удивительную эпоху государственного самодовольства переживала тогда Россия. Она третировала Запад в гордой уверенности, что сильнее, богаче, нравственнее его. Она застыла в старых формах своей жизни и провозгласила их совершенными. А в это же время кучка людей, рискуя всем, продолжала твердить, что у нас нет права не любить Европу, не учиться у нее…

Грановский кончил грустно и рано. Его предсмертные письма Герцену исполнены тоски…

«Положение наше, – писал он в 1850 году, – становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагают закрыть; теперь ограничились следующими уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, по которому не может быть в университете больше 300 студентов. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например лицею. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историками Римской империи, которой недоставало только одного – наследственности… Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя! Много порядочных людей впали

в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее – когда же развалится этот мир? Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать. Пусть выгонят сами. Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А впрочем, чем это было бы глупее остального?»

Но в то время, до которого мы довели наш рассказ (1843 год), тоска не успела еще овладеть Грановским, вымотать его душу и усадить за зеленый стол рядом с шулерами и рыцарями легкой наживы. Он был молод, впереди, казалось, ожидало так много труда, славы, счастья. Даже в своем университетском кружке Грановский находил поддержку и сочувствие. Он был не одинок и входил в число нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии в период 1835 – 40 годов. Все они сильно двинули вперед Московский университет, и история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и других, они слушали их именно в то время, когда «остов диалектики стал обрастать мясом», когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руках, а с последней книжкой лондонского или парижского журнала. С помощью диалектических построений пробовали тогда решить исторические вопросы современности: это было невозможно, но привело к более светлому осознанию происходящего. Молодые профессора привезли с собою свои заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры были для них святыми налоями, с которых они были призваны благовествовать истину; они чувствовали себя не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии…

«И где, – спрашивает Герцен, – вся эта плеяда молодых доцентов, начиная с лучшего из них – Грановского? Милый, блестящий, умный, ученый Крюков умер лет 35 от роду. Эллинист Печерин побился-побился, не вытерпел и ушел без цели, без средств, надломленный и больной, в чужие края, скитался бесприютным сиротой, сделался иезуитом и жжет протестантские библии в Ирландии. Редкин служит в министерстве внутренних дел и пишет статьи с текстами… Крылов – но довольно… La toile, [18] la toile!»

* * *

Кружок жил, работал, боролся. Он собирался чаще всего у

Герцена. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый быстрый, самый деятельный обмен мыслями, знаниями и новостями; каждый передавал прочтенное и узнанное; споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь на глаза и не было бы тотчас сообщено всем.

«Вот этот характер наших сходок, – говорит Герцен, – не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки и не видели ничего другого. Пир ведет к полноте жизни; люди воздержанные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки».

Жизнь шла кипучая, веселая, деятельная; шла, повторяю, и борьба. Рядом с кружком Грановского и Герцена были их противники – московские славянофилы или, как их называли, «славяне». Западники и «славяне» не столько не любили друг друга, – напротив, в личных отношениях они часто бывали приятелями, – сколько не понимали, да и не могли понять.

«Славян» было много; это честные, умные, образованные люди, но без отчетливого взгляда на жизнь, без определенной программы. Они не держались на точке зрения истории, не спрашивали себя, что возможно и невозможно; как теперь Лев Толстой, они проповедовали свое знаменитое «захотеть»… Захотеть, почувствовать и вернуться к формам давно минувшего быта, к народу и его нравственным и общественным устоям, как будто это так же легко сделать, как надеть вместо платья сарафан, вместо цилиндра – мурмолку и вместо пальто – охабень. Какие бы мотивы ни руководили славянофилами, в их проповеди было что-то затхлое, вымученное, какое-то сдавленное страдание. Ведь нам не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России бедна, уродлива, дика, а к ней-то и звали «славяне», хотя и не признавались в этом. Но если *не звали,* то как же объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной одежде крестьян, а к старинным неуклюжим *боярским* костюмам? Во всей России, кроме славянофилов, никто не носил мурмолок. К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персиянина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

«Возвращение к народу, – говорит Герцен, – „славяне“ тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных

демократов – принимая его совсем готовым. Они полагали, что делить предрассудки народа – значит быть с ним в единстве; что жертвовать своим разумом, вместо того чтобы развивать разум в народе, – великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение „славян“ к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия».

Я уже упоминал выше, что над К. Аксаковым, несмотря на его мурмолку, смеялись на улицах, а мальчишки бегали за ним толпой. Мужичка не так-то легко соблазнить и привлечь на свою сторону, барствуя в его роли. Он ведь скептик и себе на уме. Даже Л. Толстой, одетый в его тулуп, его армяк и его рубаху, заслуживает в большинстве случаев от народа совсем равнодушное: «Дело барское».

«Ошибка „славян“, – продолжает Герцен, – состояла в том, что им казалось, будто Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и не могла иметь. То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь только всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений. Это основы нашего быта – не воспоминания, это – живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только уцелели под трудным историческим вырабатыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без петровского периода, без периода европейского образования. Непосредственных основ было недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей; однако индийцы с ней недалеко ушли. *Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском.* Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, – все это краеугольные камни, на которых созиждется храмина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни – все же камни… и без западной мысли должны остаться при одном фундаменте… Такова судьба всего истинно социального, оно невольно влечет к

круговой поруке народов… Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие – при отвлеченной мысли коммунизма».

Круговая порука народов, западная могучая мысль, оплодотворяющая общинные формы быта, свобода мысли и разума на почве экономической обеспеченности – эту-то программу и противопоставлял кружок Герцена славянофильской. Спор, как видно, происходит не из пустяков, и каждое слово сыграло свою историческую роль. Исподволь нарождался манифест 19-го февраля, и он-то, поддержанный и расширенный судебными, административными и народно-образовательными реформами, обеспечил западничеству большое будущее.

Но и «славяне» не были разбиты наголову. Их проповедь тоже не без камня краеугольного, их идеи не без оплодотворенного семени. Дело не в охабнях, дело не в мурмолках, а в вопросе – неужели же выбросить в бездну прошлого все, чем жили двадцать поколений? Это по меньшей мере нерасчетливо. Отделить добро от зла, свято сохранить все доброе, без колебаний, мужественно расстаться со всем злым, черным, войти в историческую жизнь Европы с запасом *своего* опыта, *своих* впечатлений, *своих* форм жизни – вот то примирение противоречий, которое, казалось, могло бы свести обе партии. Они и сошлись на самом деле, хотя в лице лишь немногих, лучших своих представителей.

Борьба проникала и внутрь кружка. В нем были слишком живые, впечатлительные люди, чтобы отлить свою мысль в какую-нибудь определенную форму и сотворить себе из нее кумира. Индивидуальности, несмотря на общность главных убеждений, проявлялись резко. Это вело к размолвкам, иногда к разладу. Герцен определился скорее, отчетливее и был непримиримее других. Зная его натуру, его характер, это можно было ожидать.

Через три-четыре года по возвращении в Москву он сам с глубокой горестью стал замечать, что, исходя из одних и тех же начал, друзья приходили к разным выводам, и это не потому, что разно понимались начала, а потому, что выводы не одинаково всем нравились. Сначала споры шли полушутя, но уже по некоторым резким фразам, вырывавшимся у спорящих, можно было догадаться, что шутками дело не кончится. Спор – ни больше, ни меньше – происходил на почве вечных вопросов о бессмертии души и существовании Бога…

«Эти вопросы, – говорит Герцен, – те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так, как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит

человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука – если только человек вверится ей без якоря – непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все дерзавшие думать».

Кроме Белинского, Герцен теоретически расходился со всеми – особенно с Грановским и Кетчером. Произошла неприятная сцена.

Это случилось в 1846 году, когда весь кружок почти в полном составе гостил у Герцена в Соколове.

«Первое время после приезда друзей, – читаем мы в „Былом и думах“, – прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела – все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши Соколовской жизни наши разногласия должны были придти к слову. Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я (то есть в отрицательном – *Авт.)*. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе… Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в «Отечественных записках» одно из моих писем об изучении природы и был им чрезвычайно доволен.

– Да что же тебе нравится? – спросил я его. – Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

– Твои мнения, – ответил Грановский, – точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро; они живо, резко затрагивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед, ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?

– Неужели же нет никакого мерила истины, и мы будим людей лишь для того, чтобы сказать им пустяки?

Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а становятся неопровержимыми истинами, фактами сознания, как Евклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.

– Все это так мало обязательно, – возразил Грановский, слегка изменившись в лице, – что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает

бессмертие души. Может быть, его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

– Славно было бы жить на свете, – сказал я, – если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут, на манер сказок.

– Подумай, Грановский, – прибавил Огарев, – ведь это своего рода бегство от несчастья.

– Послушайте, – возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, – вы меня искренне обяжете, если не будете никогда говорить со мной об этих предметах; мало ли есть вещей занимательных и о которых говорить гораздо полезнее и приятнее.

Изволь, с величайшим удовольствием! – сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы все слишком любили друг друга, чтобы по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло…»

Произошло на самом деле нечто серьезное и грустное. Быть может, Герцен был слишком резок и колок в своих ответах, не сумел пощадить Грановского в ту минуту, но он безусловно прав по существу. Неужели же у себя, в своем кружке, среди родных и близких, надо еще спрашивать, что и как говорить? Это уж слишком обидно, слишком больно. Если бы еще было неминуемое дело, которое бы всех объединяло и совершенно поглощало, тогда, ради осуществления его, можно бы уступить. Но деятельность кружка проходила исключительно в сфере мысли, убеждений, «где лишь абсолютная свобода порождает истину».

Прошло немного лет; Грановский приблизился к Герцену, хотя ему пришлось за эти немногие годы схоронить еще больше и утерять почти все. Он понял, что утешение оттуда, откуда он ждал его, прийти не может. Он сдался. Но в *ту* минуту дело оказалось непоправимым.

«Трещина, – говорит Герцен, – которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличивалась, как всегда бывает, мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать, и вредным молчанием там, где необходимо было говорить».

Огарев и Герцен опять остались одни. Их дружба не боялась ни ветра, ни трещин, ни испытания.

Глава VIII. Литературная деятельность А.И. Герцена

Чтобы понять разлад, описанный в предыдущей главе, нам необходимо ненадолго прервать наше изложение и охарактеризовать как общий ход развития Герцена, так и его литературную деятельность первого периода, то есть до 1846 года.

В детской– кроватке он засыпал под рассказ своей старой няни Веры Артамоновны об ужасах 1812 года. Сцены пожара и московского разорения тревожили его детскую фантазию, уносили его на развалины столицы и заставляли воображать себя героем со шпагой в руках, – героем, перед которым ниц падают бесчисленные враги. M-me Прово – другая няня – то и дело вспоминала о временах французской революции, о том, как ее бедного m-eur Provost чуть-чуть не повесили на фонаре. «Шум, гам при этом были ужасные», – передавал рассказ своей няни маленький Герцен и мечтал о том, что стал бы делать, попади он сам в этот шум и гам. На первых порах было достаточно, по-видимому, снять с фонаря бедного m-eur Прово, а там – опять шпагу в руки и верхом на настоящей лошади – на полчища врагов. Фантазия работала постоянно и притом все в том же направлении деятельного героизма, шумных и громких подвигов. «Старые генералы» помогали развитию тех же чувств, инстинктов. Эти старые генералы – товарищи отца Герцена по полку и герои 1812 года – наполняли мрачный и тихий, точно вымерший при эпидемии, дом Ивана Алексеевича своими громкими рассказами о набегах, атаках, сражениях, о Бородино и Шевардино, Малоярославце и Березине. Маленький Герцен мог их слушать часами, забившись на диван, особенно Милорадовича. К двенадцати-тринадцати годам он был настроен совсем как герой, а тут еще чтение «Робинзона», «Тысячи и одной ночи». Четырнадцатое декабря, хотя о нем говорили шепотом, а Иван Алексеевич и совершенно умалчивал о нем, как chose étrange,[19] пройдя через лакейскую, прихожую и сумрачные барские комнаты, донеслось, однако, и до детской. Герцен взбунтовался, не спал целые ночи. Бог весть почему, все его сердце – сердце маленького впечатлительного мальчика – принадлежало целиком цесаревичу Константину, о добровольном отречении которого от престола в то время мало кто знал достоверное.

Я уже упоминал выше, что среди учителей Герцена был некто И.Е. Протопопов, тот самый, который утверждал, начиная

преподавать риторику, что вся она не стоит десяти строк Пушкина и что преподавание ее весьма бесполезно. Герцен сообщил ему о своих мыслях. Протопопов был тронут и, уходя, обнял мальчика со словами: «Дай Бог, чтобы эти чувства любви к угнетенным созрели в вас и укрепились». После этого он приносил своему ученику мелко переписанные и сильно затертые тетради запрещенных стихов Пушкина, «Оду на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева. Это чтение было упоительным, как всякий запретный плод. Героический романтизм рос в душе – Шиллер закончил эту часть воспитания.

Трогательные строки, посвященные германскому поэту-идеалисту, находим мы в «Записках»:

«Шиллер, благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности. Сколько слез лилось из глаз моих на твои поэмы!

Какой алтарь я воздвигнул в душе моей! Ты по превосходству поэт юности. Тот же мечтательный взор, обращенный на одно будущее, туда, туда! Те же чувства благородные, энергические, увлекательные, та же любовь к людям и та же симпатия к современности. Однажды взяв Шиллера в руки, я не покидал его, и теперь, в грустные минуты, его чистая песнь врачует меня. Долго ставил я Гёте ниже его. Для того, чтобы уметь понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтобы все способности развернулись, надобно познакомиться с жизнью, надобны грозные опыты, надобно пережить страдания Фауста, Гамлета, Отелло!»

Торжественные победные звуки поэзии Шиллера освятили юность, дружбу с Огаревым, первую любовь. Все – и Шиллер, и семейный гнет, и долгое одиночество – предвещало по-видимому, что из Герцена выйдет честный, добрый мечтатель вроде Грановского, Станкевича, Киреевского – словом, один из идеалистов тридцатых годов, не больше. И действительно, романтическая струна не замолкала в нем очень долго. Его восторженное отношение к Европе 1848 года, к итальянскому движению, к Гарибальди и Маццини и даже позже к России времен освобождения или, лучше, к России будущего, которой будто бы легче, чем любой европейской стране, разрешить социальный вопрос, – все это роднит его с современниками как истинного сына тридцатых годов. Но в нем рано проявилась другая струна, и ее-то дрожание, ее-то звуки сделали, по моему убеждению, из Герцена крупную, оригинальную и историческую величину. Новое в его миросозерцании опирается на темперамент. Когда он, еще ребенок, на вопрос о том, какую он читает книгу, не задумавшись, говорит «зоология» вместо «генеалогия» или при словах одного из гостей, что тот

предпочитает есть постное, приводит известный стих: «Род ослов к сухояденью склонен», вы уже чувствуете особенную складку его ума, наклонного к иронии, к скептицизму. Он узнает, что он незаконный сын, и это дает новый толчок развитию неромантической стороны его натуры, его мыслей и чувств.

Из предыдущих страниц я нарочно выкинул строки о влиянии на Герцена одного из его родственников, фигурирующего в «Былом и думах» под именем Химика. Я приведу эти строки здесь и хотя нарушу этим хронологическую последовательность рассказа, но выиграю, вероятно, в ясности.

Отец[20] Химика был старый деспот и развратник, окруженный гаремом из дворовых. Он страшно теснил сына и даже ревновал его к своему сералю. Химик хотел раз отделаться от этой неблаговидной жизни опием; его спас случайно товарищ, с которым он занимался химией. Отец перепугался и стал посмирнее. После его смерти Химик дал отпускную всем одалискам, содержавшимся в то время взаперти в барских покоях, уменьшил наполовину тяжелый оброк крестьян, простил все недоимки и занялся химией.

Жил он чрезвычайно своеобразно; в большом своем доме на Тверской занимал одну комнату для себя и одну – для лаборатории. Остальное помещение было заколочено и запущено. Почерневшие канделябры, необыкновенная мебель, всякие редкости, рамы без картин и картины без рам – все это наполняло три огромные старинные залы, нетопленые и неосвещенные. При появлении гостя человек провожал его с зажженной свечой в руках, предупредив сначала, что платья снимать не надобно, так как в залах очень холодно. Рядом этих комнат достигалась наконец дверь, завешенная ковром, которая вела в страшно натопленный кабинет. Здесь Химик в грязном халате на беличьем меху сидел безвыходно, обложенный книгами, обставленный склянками, ретортами, тиглями, снарядами.

Как, путем какой комбинации протестующих элементов души, отвращения к рабству, разочарования в общественной деятельности создался такой «тип», Бог весть, но Химик на самом деле был типом, с цельными взглядами, цельным миросозерцанием. Ничего романтического, ничего такого, чего нельзя было бы проверить опытами, добыть в реторте, разложить на элементы – таков был его девиз. В эпоху увлечения Шеллингом он с пренебрежением закрыл сочинения натурфилософов, презрительно говоря о них: «Сами выдумали первые причины, духовные силы да и удивляются потом, что их нельзя найти, и мудрят, мудрят, мудрят…» Человек в его глазах был далеко не идеально устроенной химической лабораторией, и мог так же

мало отвечать за содеянное им добро и зло, как зверь. Все – дело организации, обстоятельств, устройства нервной системы. Изящные искусства он презирал, называя их пустяками. В 1846 году, когда Герцен начал входить в моду после публикации первой части «Кто виноват?», Химик написал ему письмо, в котором говорил, что ему грустно видеть, как Герцен тратит свой талант на пустяки. «Я с вами помирился, – писал он, – за ваши „Письма об изучении природы“; в них я понял (насколько человеческому уму можно понимать) немецкую философию, – зачем же вместо продолжения серьезного труда вы пишете *сказки?*»

С самого начала своего знакомства с Герценом Химик убеждал его бросить пустые занятия литературой и политикой и приняться за естественные науки. Он дал мальчику речь Кювье о геологических переворотах и «Органографию растений» Декандоля. Видя, что чтение идет на пользу, он предложил свои превосходные коллекции и даже свое руководство. И хотя Герцен по своему темпераменту не мог согласиться с выводами Химика и горячо отстаивал мечты об общем счастье, это не помешало ему пристраститься к естественным наукам и поступить на математический факультет.

От речей Химика на него пахнуло здоровым реализмом.

Химик своими разговорами, хотя и редкими, бросил зерно на богато подготовленную самой природой почву. Он не мог перетянуть Герцена на свой путь, но он уяснил ему его собственный. Он внушил ему уважение к положительной, точной науке, он подсказал ему мысль, что есть истины, обязательные для человека как такового, нравятся ли они ему или нет – безразлично, и что сама история и жизнь общества, как и природа, могут и должны быть предметом точного научного исследования. Если из Герцена не вышел человек науки, то не Химик виноват в этом. Он со своей стороны сделал все что мог, чтобы повернуть горячего талантливого юношу на единственный, по его мнению, истинный путь. Герцен, по своему обыкновению, взял от него все, что тот мог дать, и пошел своей дорогой. Он был слишком сильной и искренней натурой, чтобы действовать и говорить с чужого голоса, не от себя.

Как бы то ни было, первые крупицы положительного миросозерцания, или того, что тридцать лет спустя стало называться реализмом, проникли в его сознание. Отчасти под влиянием Химика он поступил на естественный факультет, но абсолютно вопреки его влиянию занялся пропагандой политических идей и сенсимонизмом. Темперамент всю жизнь неотразимо тянул его к борьбе, и именно на общественной почве.

Ссылка, близость к религиозной кузине и Витбергу временно настроили Герцена на мистический лад, но эта полоса жизни не характерна для него. Религиозное чувство только шевельнулось в нем, но не стало настолько сильным и могучим, чтобы подчинить себе все остальное. Так же мало характерно для него увлечение метафизикой. Ведь чем бы ни увлекался Герцен, к какому бы краю умственного движения ни прибивали его обстоятельства, он из любой ситуации выходил самим собой. В Вятке, слушая восторженные мистические речи Витберга, как бы присутствуя при создании величественного храма, часто «готовый молиться и плакать», влюбленный в экзальтированную и религиозную девушку, Герцен все же не мог отрешиться ни от себя, ни от своего темперамента. Он с грустью вспоминал впоследствии, что с Витбергом нельзя было поднимать никаких политических и общественных вопросов. В Новгороде он прочел гегельянцев и быстро примкнул к их левой стороне, полностью принимающей точную науку и положительную философию. Фейербах учил о единстве материи и духа, о том, что о сущности мы можем судить лишь по ее проявлениям. Герцен воспринял это учение: его скептический ум, его политический темперамент требовали этого.

Мне кажется, что, рассматривая различные увлечения Герцена, критики придают им слишком серьезное значение и потому подробно останавливаются на обстоятельствах, которые приводили его то к мистицизму, то к метафизике, то к радикализму. Разумеется, ссылка, частные свидания с Дубельтом и пр. – все это сыграло свою роль и не упомянуть об этом нельзя, но все же я иначе понимаю смысл биографии Герцена. Мне лично представляется особенно важным проследить, как Герцен, увлекаясь то тем, то другим, все же никогда не забывал самого себя, как его темперамент постоянно одерживал победы над различными настроениями, как струя положительного мышления не иссякала в нем и проявилась наконец в резкой, определенной форме. Наши деды делали крупную ошибку, не придавая никакого значения обстоятельствам и объясняя все «изнутри человека»; мы, по-видимому, склонны впадать в другую крайность и переоценивать влияние обстоятельств. Внутренний человек, то есть совокупность данных, получаемых человеком по наследству, значит удивительно много. На долю Герцена выпало редкое счастье никогда не изменять этому внутреннему человеку, а лишь «отходить» от него то в ту, то в другую сторону, но никогда – слишком далеко. Мы, интеллигентные люди, сильно подвержены иллюзии. Прежде чем найти свою дорогу, мы долгие годы бродим там и сям, наряжаемся в разные неподходящие одежды, беремся не за свои дела. Случается, что человек, умирая, задает себе

вопрос: зачем он жил? Этот вопрос может быть мучительным лишь в том случае, если в течение жизни человек не сумел определить самого себя и свое призвание. В противном случае он почти невозможен. Герцен определился еще ребенком. Сила и искренность его темперамента поразительны, и эта сила, эта искренность – лучшее наследство, полученное им от отца. С этой точки зрения любопытно проследить его литературные работы.

Когда он начал печататься, мы не знаем; первую же статью, под его обычным псевдонимом «Искандер», мы находим в № 33 «Телескопа» за 1836 год, когда Герцен был уже в Вятке и, следовательно, «в мистической фазе своего миросозерцания». Статья была посвящена Гофману – одному из последних могикан немецкого романтизма. По-видимому, здесь Герцен вполне заплатил дань своему времени, явившись таким же поклонником Гофмана, какими были все юноши тридцатых годов.

С 1842 года Герцен окончательно примкнул к литературному цеху. Чуждое его натуре мистическое настроение развеялось как дым. Он, пройдя через все лабиринты гегелевской философии, вышел из них закаленным в борьбе с ее трудностями, во всеоружии строгой и могучей логики. Жизнь не мешала ему; напротив, в это время она окружила его всеми удобствами, дала ему семейное счастье, товарищей, полное материальное обеспечение. Грешно было бы Герцену с его огромным талантом не воспользоваться всем этим. И на самом деле, за каких-нибудь пять лет появились «Письма об изучении природы», «Из записок доктора Крупова», «Кто виноват?», «Капризы и раздумье» и еще много других произведений, одинаково умных, оригинальных.

Разнообразие трудов Герцена замечательно. В своих статьях, романах, заметках он касается всех сторон жизни. Он проповедует точную науку и положительное знание, говорит о нравственности, о семейных отношениях и смело подступает к роковой загадке: почему же так тосклива жизнь, почему она утомляет одних, выбрасывает за борт других, почему любовь не приносит счастья, а развитие дает возможность увидеть лишь мерзость окружающего?

«Когда я хожу по улицам, – пишет Герцен, – особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно и только кое-где светится ночная тухнущая лампа, догорающая свеча, – на меня находит ужас: за каждой стеной мне мерещится драма, за каждой стеной виднеются горячие слезы, слезы, о которых никто не ведает, слезы обманутых надежд, слезы, с которыми утекают не одни юношеские верования, но все верования человеческие, а иногда и самая жизнь. Почему?»

Жизнь представляет из себя путаницу, и даже жестокую

путаницу, потому что отношения людей между собой, их нравственные понятия, их взгляды на смысл и строй бытия исполнены непримиримых, подчас мучительных противоречий. Они, эти противоречия, «прокрались во все наши убеждения, исказили весь нравственный быт. Они упорны, как все явления полусознательные и, следовательно, полусостоящие в воле человека (человек действительно свободен только в том, что вполне понимает); они трудноуловимы, беспрестанно меняют платье, форму, язык, по временам до того притихают, что становятся незаметными, но преупорно остаются при своей задней или, лучше, дряхлой мысли. Тем опаснее эти противоречия, что они постоянно скрыты за туманом внутренних чувств, что они избегают резко высказанного имени, что, наконец, знамя, выставляемое ими с величайшей добросовестностью, прикрывает совсем иное содержание. Рядом таких противоречий, утомительных, иронических, оскорбительных, проходит озабоченное человечество перед нашими глазами, льет свои слезы, льет свою кровь, мучится, спорит, становится с той и с другой стороны, думает примирить, думает победить – не может и, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, склоняет усталую голову под то или другое ярмо предрассудков. Но кто же ставит, кто поддерживает это ярмо? Его никто не ставит, никто не поддерживает. Заблуждения развиваются сами собой: в основе их лежит всегда что-нибудь истинное, обросшее словами ошибочного понимания, какая-нибудь простая житейская правда; она мало-помалу утрачивается, между прочим потому, что выражена в форме, несвойственной ей; а веками скопившаяся ложь, седая от старости, опираясь на воспоминания, переходит из рода в род. Баратынский превосходно назвал предрассудок обломком древней правды. Эти обломки составляют одно начало для противоречий, на другой стороне – отрицание, протест разума. Обломки эти поддерживаются привычкой, ленью, робостью и, наконец, младенчеством мысли, не умеющей быть последовательною и уже развращенной принятием в себя разных понятий без корня, без оправдания, рассказанных добрыми людьми и принятых на честное слово, а иногда и просто так. Это совершенно противно духу критического мышления, но оно очень легко: вместо труда и пота – орган слуха, вместо логической наготы – готовое богатство, вместо нравственной ответственности перед самим собой – младенческая зависимость от внешнего суда». Еще двести лет тому назад Спиноза доказывал, что всякий факт прошедшего надобно не хвалить, не порицать, а разбирать, как математическую задачу, то есть стараться понять, – этого никак не растолкуешь. Мы живем, не понимая, стараясь лишь

приладить кое-как свои страсти, инстинкты к официальной морали, чтобы не прослыть за преступника или негодяя. Но что это за вещь, так называемая официальная мораль?

«Прислушиваясь к различным суждениям, дивишься, как может ум дойти до того, чтобы в одно и то же время совместить в свой нравственный кодекс стоические сентенции Катона и Сенеки, романтически восторженные выходки Средних веков, самоотверженные нравоучения благочестивых отшельников степей фиваидских и своекорыстные правила политической экономии. Безобразие подобного смешения принесло свой плод – именно мертвую мораль, мораль, существующую только на словах, а в самом деле недостойную управлять поступками: современная мораль не имеет никакого влияния на наши действия; это – милый обман, нравственная благопристойность, одежда – не более. У каждого человека за этой официальной моралью есть свой припрятанный esprit deconduite; официально он будет плакать о том, что бедный беден, официально он благородным львом вступится за честь женщины; privatim[21] – он берет страшные проценты, privatim он считает себя вправе обесчестить женщину, если условился с нею в цене. Постоянная ложь, постоянное двоедушие сделали то, что меньше диких порывов и вдвое больше плутовства, что редко человек скажет оскорбительное слово другому в глаза и почти всегда очернит его за глаза; в Париже я меньше встречал шуринеров и эскарпов,[22] нежели мушаров,[23] потому что на первое ремесло надобно иметь откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе – только двоедушие и подлость. Наполеон с отвращением говорил о гнусной привычке беспрестанно лгать. Мы лжем на словах, лжем движениями, лжем из учтивости, лжем из добродетели, лжем из порочности; лганье это, конечно, много способствует растлению, нравственному бессилию, в котором родятся и умирают целые поколения, в каком-то чаду и тумане проходящие по земле. Между тем и это лганье сделалось совершенно естественным, даже моральным; мы узнаем человека благовоспитанного по тому, что никогда не добьешься от него, чтобы он откровенно сказал свое мнение.

Возьмите мелочи жизни, самое обыденное, скромное существование. Здесь особенно много непонимания, особенно резко отсутствие жизни. Люди никак не могут заставить себя серьезно подумать о том, что они делают дома с утра до ночи; они тщательно хлопочут и думают обо всем: о картах, о крестах, об абсолютном, о вариационном исчислении, о том, когда лед пойдет по Неве; но о ежедневных, будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны,

хозяйственные дела, отношения к родным, близким, присным, слугам и пр., – об этих вещах ни за что на свете не заставить подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говорит, что люди для того играют в карты, чтобы не оставаться никогда долго наедине с собою, чтобы не дать развиться угрызениям совести. Очень вероятно, что, руководствуясь тем же инстинктом, человек не любит рассуждать о семейных тайнах, – а не пора ли бы им выйти на свет?» «Зачем, кажется, прятать под спудом то, что не боится света; да и, в сущности, это все равно, прячь не прячь – все обличится; с каждым днем меньше тайн…» «Изредка какое-нибудь преступление, совершенное в этом мраке частной жизни, пугнет на день, на другой людей, стоявших возле, заставит их задуматься», и потом все, как стоячая вода, опять покрывается плесенью. «К тому же чтобы преступление обратило на себя внимание, надобно, чтобы оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы в этом отношении похожи на французских классиков, которые если шли в театр, то для того, чтобы посмотреть, как цари, герои или, по крайней мере, полководцы и наперсники их кровь проливают, а не для того, чтобы видеть мещански проливаемые слезы. Людям необходимы декорации, обстановка, надпись; мещанин во дворянстве очень удивился, узнавши, что он сорок лет говорит прозой, – мы хохочем над ним, а многие лет сорок делали злодеяния и умерли лет восьмидесяти, не зная этого, потому что их злодеяния не подходили ни под какой параграф кодекса, – и мы не плачем над ними».

«Бедная, жалкая жизнь! – восклицает Герцен, которого постоянно теснили воспоминания о Перми, Вятке и других стоячих водах. – Не могу с нею свыкнуться… Пусть человек, гордый своим достоинством, приедет в Малинов посмотреть на тамошнее общество и смирится. Больные в доме умалишенных менее бессмысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся к одним призракам, по горло в грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть. Тесные, узкие понятия, грубые, животные желания. Ужасно и смешно! В природе есть какая-то сардоническая логика, по которой она безжалостно развивает нелепости чрезвычайно последовательно. И именно в этих-то развитиях тесно спаян, как в шекспировских драмах, глубоко трагический элемент с уморительно смешным. И жаль их от души, и не удержишься от смеха! Бедные люди! Они под тяжелым фатумом; виноваты ли они, что с молоком всосали в себя понятия нечеловеческие, что воспитанием они исказили все порывы, заглушили все высшие потребности? Так же не виноваты, как альбиносы, которые вдыхают в себя северный болотный воздух,

лишающий их сил и заражающий их организм».

В этом стоячем болоте, на этой почве загнанного, запуганного разума разыгрываются порою страшные, но часто незаметные драмы. Одной из них Герцен посвятил свой роман «Кто виноват?»

Здесь он выводит на сцену людей честных, хороших, гуманных; все они любят друг друга, все они самым искренним образом желают осчастливить один другого. А между тем в конце концов они делают друг друга несчастными, гибнут. Их жизнь, их любовь, как камень, брошенный в стоячую воду, быстро пошла ко дну, чуть-чуть разогнав плесень в месте падения, но прошла минута, и плесень сдвинулась, и снова мертвое молчание, мертвая тишина.

Пошлая мораль не затруднится найти причину гибели. Она скажет, что влюбленные погибли оттого, что отдались своей страсти, забыли закон и долг, не подавили своих чувств. Будут забыты борьба, муки, вынесенные ими, и торжествующая официальная добродетель еще раз в великолепных напыщенных выражениях заявит о своем превосходстве и скажет: горе вам, не подчиняющимся мне…

Причину, разумеется, надо искать не в личностях, а в противоречиях жизни, любви и брака, страсти и филистерства.

«Кто виноват?» – иллюстрация нравственной философии Герцена: как у гегельянца она построена на развитии и примирении противоречий. Мы знаем главнейшие из этих последних: разум и предрассудки, личное чувство и общепринятые формы общественной морали, семья и общество. В этих противоречиях проходит грустная бессмысленная человеческая жизнь. И как из них выпутаться, как и чем примирить их? Держаться средины, не приставая ни к одному берегу? К сожалению, это невозможно. Разум и предрассудки – огонь и вода, что-нибудь да должно победить, а другое – погибнуть. Личное чувство, раз оно не ужилось с общепринятыми формами морали, должно или затаиться глубоко в сердце, или гордо провозгласить свою независимость, несмотря ни на что. Примиримо лишь третье противоречие – между семьей и обществом – примиримо путем гармонического слияния того и другого начал.

Дуализм жизни, то есть ее противоречия, ведет или к гибели отдельной личности, как Бельтова, как четы Круциферских, или к особенно отвратительному пороку – лицемерию, или, наконец, к безнадежной мысли о том, что все равно ничего не поделаешь; надо жить как-нибудь, не переставая иронически улыбаться при виде человеческой глупости вплоть до могилы, такой же холодной и ненужной, какой была сама жизнь. Чтобы воспрянуть

духом, чтобы высвободиться из-под ярма, нужны особые, недюжинные силы. Люди, например, чуть не с троянской войны толкуют о нравственной независимости, о стремлении к ней, о ее достоинствах и прелестях, между тем на деле оказываются несравненно более привязанными к авторитетам, нежели к нравственной свободе.

Но Герцен не пессимист. Он знает силу суеверия, предрассудка, умственной косности, но знает, что, как ни тяжело положение, как ни велика борьба, выход и спасение есть. Это – критическая мысль и наука, проведенная в жизнь и развивающаяся согласно своему идеалу. Ложь человеческого существования, его непримиренные противоречия ведут к вражде, гибели, мученичеству; наука, как истина, – к любви.

Но наука, мысль, ведение существуют уже давно; что же тормозит их доброе влияние на жизнь? Ответу на этот вопрос Герцен посвятил свои статьи о дилетантизме в науке. Оказывается, что виновата не она сама, виновато отношение к ней.

Наука должна отделаться от метафизических бредней, от тьмы тьмущей специальностей (кроме технической своей части), и в таком только случае она сделается доступной всем людям и будет в состоянии потребовать голоса во всех делах жизни. Это возможно и достижимо. Герцен мечтает о полной демократизации науки, потому что нет «мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно в ее диалектическом развитии».

В один радостный для человечества день наука отпразднует свое бракосочетание с жизнью. Но для этого должны предварительно исчезнуть и *цеховые ученые,* замкнувшиеся в отдельной ветви какой-нибудь специальной науки, и *дилетанты,* смотрящие на жизнь в телескоп, и *буддисты,* которых калачом не заманишь в мир действительности – так им хорошо и почетно в мире отвлеченностей.

Идея научной философии, борьба с духом специализации и цехового самодовольства, мечта о науке как общем достоянии, отрицание всяких абстракций и сущностей, в чем трудно не видеть влияния фейербаховской философии, требование переработать действительность и привести ее в согласие с разумом, единой истинной наукой и нравственным чувством человека, вера в возможность осуществления этой грандиозной задачи – вот Герцен в большинстве своих статей до рубежа его жизни – краха февральской революции 1848 года и романтических надежд Европы. Рядом с этим боевое отношение к факту действительности, исполненная печали насмешка над глупостью, самодовольством и пошлостью тех, кто распоряжается

жизнью, имеет власть над нею, пользуется ее привилегиями, тень мысли, что человечество неизлечимо и неисправимо, и яркий свет веры в скорое грядущее возрождение…

Стремись к полноте научного знания, никогда не мирись с действительностью и ее злом, умей бороться и даже погибнуть, но не лги никогда ни перед собой, ни перед требованиями своей истины. Это – нравственная сторона проповеди Герцена.

Не разрешив, безусловно, поставленной задачи, Герцен, тем не менее, сделал очень много: роль его статей и статей Белинского в области публицистического мышления такая же, как роль творений Пушкина в области художественного творчества. Пушкин был первым реалистом, первым, который умел вдохновляться действительностью. Герцен и Белинский были первыми истинными реалистами, первыми, которые признали практическую действительную жизнь за необходимый элемент мышления, которые потребовали *ответственности перед обществом* от жрецов искусства и науки.

Именно эта сторона миросозерцания Герцена оказала наибольшее влияние на его современников. Он удачно развязал путы гегелевской философии, стеснявшие многих и прежде всего, конечно, Белинского. В его статьях звучал бодрый призыв к работе, к борьбе со злом, к водворению правды в человеческих отношениях. Он был против всякого примирения, а также против буддизма, уходившего от действительности, и против дилетантизма, отворачивавшегося от нее.

Статьи Герцена пользовались успехом, ими зачитывались. В них было что-то новое, от них веяло новым духом точной науки, положительного знания, общественных преобразований, которые должны начаться вместе с вхождением науки в жизнь. Было и самое дорогое для русского читателя – нравственная проповедь, хотя, разумеется, в тон проповедника Герцен не впадал никогда. Но он, очевидно, требовал от всякого в качестве первого элементарного условия нравственности, чтобы тот защищал от жизненной лжи, лицемерия и насилия то единственное, несомненное, что есть – «человеческую личность» и ее достоинство. Ни тени метафизических увлечений, уже набивших оскомину. Никаких отвлеченностей, взятых у Гегеля и Шеллинга, все просто и ясно, все подчинено одному верховному принципу: наша общественная жизнь есть ложь; только наука может и должна водворить истину вместо этой лжи. Но где же взять эту науку? Конечно, на Западе, старшем годами и мудростью, и Герцен преклонялся перед мощной мыслью Запада.

Повторяю; взгляд Герцена – это взгляд трезвого реалиста, каким он по самому темпераменту своему был чуть не с пеленок

и каким он остался вплоть до гробовой доски. Посмотрите с этой точки зрения на его философскую теорию. Мы знаем, что она образовалась под влиянием гегелевской диалектики, но какая громадная разница между Герценом и правоверными гегельянцами. Следуя Фейербаху, он решительно отвергает возможность существования «идеи», «сущности» вне ее проявления…

* * *

Быть может, изложенные выше идеи Герцена покажутся читателю не новыми и не оригинальными. *Теперь* они на самом деле не новы и не оригинальны. Но пусть припомнит всякий, какие душевные муки испытывал Грановский, приступая к изучению истории и не зная, по какому пути ему идти: сделаться ли цеховым специалистом, броситься ли в море мелочных фактов при страшном обилии материалов, разработанных немецкой наукой, или же, напротив, стать дилетантом; вспомните затем, в каком тумане и каком буддизме пребывал Белинский долгие годы вплоть до самого переезда в Петербург, и вы поймете, как нужен был Герцен и его огромный литературный талант. Мы сейчас увидим, как оценила его молодежь, пока же несколько слов о «Записках доктора Крупова» – быть может, лучшем произведении, вышедшем из-под пера Герцена. Оно переносит нас в особую сферу его мысли, посредством его мы становимся свидетелями особого настроения его духа. Ведь он, как и Лермонтов, – тоже герой безвременья. Его деятельная мысль часто приходила в утомление от собственной работы, нужно было оживить свои нервы, а вокруг – стоячее болото, страшное, засасывающее, безмолвное. Не тосковал Герцен, окруженный своими друзьями, слушая их шумные речи, не тосковал он в 1848 году, не тосковал и в 1861-м, когда началось возрождение России, но жизнь его сложилась так, что большую часть ее он провел за оградой. В этом ее трагизм. Ссылка держала его вдали от умственного движения, эмиграция отделила его от России, защита им польского восстания сделала непопулярным самое имя его на родине. Деятельный пропагандист идей, он, однако, вынужден был проповедовать чужим, невнимательным слушателям; аристократ ума, он провел долгие годы в стоячих водах Вятки, Перми и пр., – поневоле возмущалась его гордость, поневоле обида заполоняла его сердце, превращаясь в тоску. Тогда он проклинал или смеялся смехом Мефистофеля, нападал на своих врагов с беспощадной иронией, но грустная человеческая нота неудавшейся жизни

никогда не переставала звучать ни в его смехе, ни в его иронии.

Кто помнит доктора Крупова, тот помнит, конечно, и его теорию. Она состоит в том, что люди, вообще говоря, повреждены в уме, что человечество поражено повальным сумасшествием. Упорные заблуждения людей, их слепое подчинение страстям, их действия, явно противоречащие их собственной пользе, – все это доктор Крупов считал следствием давнишнего эпидемического помешательства. Для того, чтобы подобная шутка была остра и занимательна, нужно было одно условие – нужно было, чтобы она как можно более походила на правду. Истинно остроумен может быть только тот, кто истинно глубокомыслен. Шутка у Герцена вышла странная: из простой насмешки над людскими слабостями и предрассудками она переходит в скорбную, отчаянную думу о бедствиях и страданиях людей, и под конец кажется, что мысль о хроническом и повальном умопомешательстве гораздо легче и отраднее, чем представление, что люди все свои безумства и злодейства делают в полном разуме и с неповрежденным сердцем.

Фигура дурачка Левки – едва ли не лучший образ, созданный Герценом. Описывая Левку, он наглядно и превосходно сопоставляет человека *дикого с* людьми грубыми; в грубых людях оказывается больше непонимания, больше бесчеловечия, чем в несчастном юродивом. Тонко и ясно выписаны нежные детские черты ума и сердца Левки; выпукло и резко выставлена нелепая затверделость понятий людей, считающих только себя разумными, только свою жизнь нормальной. «Я постоянно возвращался к основной мысли, – говорит доктор Крупов, – что причина всех гонений на Левку состоит в том, что Левка глуп на свой собственный салтык, а другие повально глупы; и так, как картежники не любят неиграющих и пьяницы непьяниц, так и они ненавидят бедного Левку».

Дальше Герцен указывает на тот явный постоянный вред, который наносят люди себе самим в силу своих предрассудков, на их явное и постоянное стремление к целям несущественным и упущение ими целей действительных. Это уже черта настоящего безумия, то есть такого состояния, в котором действительность не имеет силы над человеком. Если человек подвергается бедам и мучениям, действуя в соответствии с известными понятиями, и однако же не может образумиться и продолжает придерживаться прежнего образа действий, то он всего ближе к безумству.

«Успокоившись насчет жителей нашего города, – заключает доктор Крупов, – я пошел далее. Выписав себе знаменитейшие путешествия древние и новые, исторические творения, я подписался на „Аугсбургскую всеобщую газету“. Отовсюду текли

доказательства очевидные, не подлежащие сомнению, моей основной мысли; слезы умиления не раз наполняли мои глаза при чтении. Я не говорю уже об „Аугсбургской газете“; на нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень богоугодных заведений для несчастных, страдающих душевными болезнями. Все равно, что бы историческое я ни начинал читать, везде во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона – никакой разницы: все они, равно как и наш отечественный историк, Карамзин, доказывают одно, что история не что иное, как связный рассказ родового, хронического безумия и его медленного излечения. Истинно не считаю нужным приводить примеры: их миллионы. Разверните какую хотите историю; везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые фантастические интересы; вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине, и истине, полной утешения на второй взгляд, что все это – следствие расстройства умственных способностей…»

* * *

В течение всего 1845 года Герцен ходил на лекции в университет и слушал сравнительную анатомию. В аудитории и в анатомическом театре он познакомился с новым поколением юношей. Направление занимавшихся в то время было совершенно реалистическое, то есть положительно-научное. Замечательно, что таково же было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей тогда оставался еще рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта пережило все тяжелые испытания времени. С радостью приветствовал Герцен в лице лицеистов, учившихся в Московском университете, новое, сильное поколение, а те в свою очередь в нем и Белинском видели выразителей самых задушевных своих мыслей и у них искали решения мучивших их вопросов.

Трогательный в этом отношении рассказ находим мы в «Былом и думах».

«Сын одного знакомого подмосковного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за „Отечественными записками“. Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился скорее уйти. Умное и

открытое лицо его сильно говорило в его пользу; я переломил наконец его отроческую неуверенность в себе и стал говорить с ним об „Отечественных записках“. Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно на высшем курсе семинарии учащиеся читали мое историческое изложение систем и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфу. Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности к труду.

– Что вы намерены делать после курса? – спросил я его раз.

– Постричься в священники, – отвечал он, краснея.

– Думали ли вы об участи, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?

– Мне нет выбора, мой отец решительно не хочет, чтобы я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.

– Вы не сердитесь на меня, – возразил я, – но мне невозможно не сказать откровенно своего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам, – все это и сверх того искреннее участие в вашей судьбе дают мне вместе с моими летами некоторые права. Подумайте сто раз, прежде чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может быть вам в ней тяжело будет дышать. Я вам сделаю очень простой вопрос: скажите, есть ли у вас в душе вера хоть в один догмат богословия?

Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал: «Перед вами лгать не стану – нет».

– Я это знал; подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете во всю вашу жизнь всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против Св. Духа, грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтобы сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их.

– Это ужасно, ужасно! – сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.

На другой день вечером он возвратился.

– Я к вам пришел за тем, – сказал он, – чтобы сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно правы; духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.

Я горячо пожал ему руку и обещал со своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца».

Мне кажется, что в этой маленькой сцене мы находим прекрасную иллюстрацию всей проповеди Герцена за первый, *русский,* период его деятельности. Ведь истинная ее сущность может быть целиком выражена в немногих словах: «Не лги и не подчиняйся лжи».

Глава IX. За границей

С конца 1835 года силы Ивана Алексеевича постоянно уменьшались, он явным образом угасал, особенно по смерти Сенатора, к которому был сильно привязан, разумеется по-своему. Проболев несколько месяцев, старый скептик умер, и кончилась еще одна ненужная жизнь, Бог весть зачем и в чем проведенная. Ведь бывают же такие обстоятельства, когда человек не живет по-настоящему, а отбывает жизнь, ну, точно какую-нибудь повинность. Мелочная скупость и ненужные крупные расходы, привязанности, затаенные глубоко в сердце, и обидная холодная ирония наяву, громадный ум, истраченный на высмеивание нескольких дураков, – все это ушло в могилу вместе с Иваном Алексеевичем.

Герцен получил в наследство громадное состояние в несколько сот тысяч рублей. Его неотразимо потянуло за границу. Несколько месяцев неприятных хлопот, неприятной возни из-за паспорта, и наконец -

Ну, радуйтесь! Я отпущен!
Я отпущен в страны чужие!
Да это, полно ли, не сон?
Нет, завтра ж кони почтовые,
И я скачу von Ort zu Ort,[24]
Отдавши деньги за паспо́рт.
Поеду… Что-то будет там?
Не знаю! Верно, но темно
Грядущее перед очами,
Бог весть, что мне сулит оно!
Стою со страхом пред дверями Европы…

Едва ли в эту минуту даже отдаленная мысль об эмиграции мелькала в голове Герцена. Как умный человек он не мог не понимать, что эмиграция – шаг роковой, бесповоротный, который ничего не сулит, кроме бед, разочарований и даже вполне справедливых мук совести. В Европе деятелей всякого рода вполне достаточно; русскому человеку довольно работы и у себя дома: здесь нужна каждая крупица его сил, каждый порыв его сердца. Эмиграция для богатого человека слишком проста и легка, слишком аристократична, если можно так выразиться. Герцен не мог не видеть этого; однако «путешествие на воды» игрою случайностей и событий превратилось в эмиграцию…

Тогда, в 1847 году, ездили на почтовых. Дорожные впечатления, особенно зимой, постоянное визирование паспортов, ожидания на глухих станциях – все это быстро утомляло и приедалось. Долго еще к тому же Герцен не мог оторваться от старого. Позади оставалось слишком многое; что было впереди – никто не знал. Знакомства мимоходом не завязывались, и первое, которое завязалось, вышло как первый блин – комом. Герцен от скуки разлиберальничался по поводу польского вопроса с каким-то господином, обладавшим «собственноручным» носом, и немного поздно узнал, что это был полицейский шпион.

С лишком месяц тянулась дорога, станции сменялись станциями, Берлин, Кельн, Бельгия быстро промелькнули перед глазами. Герцен смотрел на все полурассеянно, мимоходом, он торопился доехать и доехал наконец: красиво и величаво расстилался перед ним на Монмартрских холмах мировой город.

«Я отворил старинное тяжелое окно, – пишет он, – в Hôtel du Rhin, передо мной стояла колонна

с куклою чугунной

Под шляпой, с мраморным челом,

С руками, сжатыми крестом.

Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и rue de la Paix… «В *Париже»* – едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе вместо кокарды с криком: «à la Bastille!»… Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря… искать Бакунина, Сазонова. Вот rue St. Honoré, Елисейские поля – все эти имена, сроднившиеся с давних лет… да вот и сам Бакунин… Я был вне себя от радости…»

Увы, однако, как мимолетна была эта радость; она только поманила Герцена, только блеснула перед его глазами, как падающая звезда в темноте ночи, и исчезла там же, где исчезают и все наши горести… Прежде всего пришлось значительно разочароваться в Париже и французах, если не во всех, то по крайней мере в половине из них, и притом в той половине, которая правила страной, была прилично одета, говорила речи и печаталась в газетах. Следы этого разочарования мы находим в письмах Герцена того времени, часть которых появилась в «Современнике» за 1847 год. Как Гейне и Берне, как впоследствии наш Достоевский («Зимние заметки о летних впечатлениях»), Герцен из близкого знакомства со столичной буржуазией вынес впечатление самое отвратительное и удушливое. Он поражен ее

развратом, ее мелочностью.

«Разврат, – пишет он, – проник всюду – в семью, в законодательный корпус, в литературу, прессу. Он настолько обыкновенен, что его никто не замечает да и замечать не хочет. И это разврат не широкий, не рыцарский, а мелкий, бездушный, скаредный. Это разврат торгаша…»

Другого в этом слое общества Герцен, разумеется, и не мог ничего увидеть. Та торгово-промышленная компания, в которую обратилась при Луи-Филиппе Франция, была вместилищем невыразимой пошлости, и, чтобы облегчить свою душу, Герцену пришлось спуститься ниже, к трудящемуся люду, и присмотреться к *его* жизни. Различие в нравах поражает его: он удивляется полному отсутствию канкана, уважению к женщине, трогательному вниманию к детям в низших классах населения. «В лачугах и мансардах, – пишет он, – меня всегда встречало добродушие». Но низшие классы населения – не все население. Приходилось дышать воздухом, пропитанным мещанством, и это было настолько тяжело, что через несколько месяцев, к осени, Герцену стало невыносимо в Париже. Он не мог примириться с безобразным нравственным падением, которое наблюдал, и чувствовал, что душой его овладевают холод, недоверие и «все равно» полной безнадежности. Встряхнется ли Франция? – спросил он себя и с этим вопросом, на который пока не было ответа, уехал в Италию.

«Испуганный Парижем 1847 г., – пишет он, – я было раньше раскрыл глаза, но снова увлекся событиями, кипевшими возле меня. Вся Италия просыпалась на моих глазах! Я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего милостыню народной любви. Вихрь, поднявший все, унес и меня; вся Европа взяла одр свой и пошла в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение».

Но все же было несколько месяцев, дней, когда дышалось хорошо и привольно, – эти месяцы, эти дни Герцен назвал сном.

«О Рим! Как я люблю возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю я день за днем время, в которое я был *пьян* тобой…»

И было от чего. Прочтите хотя бы вот этот маленький отрывок из воспоминаний:

«Темная ночь. Корсо покрыто народом, кое-где факелы. В Париже уже с месяц провозглашена республика. Новости пришли из Милана – там дерутся, народ требует войны; носится слух, что Карл-Альберт идет с войском. Говор недовольной толпы похож на перемежающийся рев волны, которая то приливает с шумом, то тихо переводит дух. Толпы строятся, они идут к пьемонтскому

послу узнать, объявлена ли война.

– В ряды, в ряды с нами! – кричат нам десятки голосов.

– Мы иностранцы.

– Тем лучше, Santo Dio,[25] вы наши гости.

Пошли и мы. И толпа со страстным криком одобрения расступилась, – Чичероваккио и с нами молодой римлянин, поэт народных песен, продираются со знаменем, трибун жмет руки дамам и становится с нами во главе 10–12 тысяч человек, и все двинулось в том величавом и стройном порядке, который свойственен только одному римскому народу».

Прямое участие Герцена в итальянских событиях 1848 года только этим и ограничилось. В течение целых месяцев он наблюдал нервную дрожь, овладевшую целым народом, и чувствовал, как эта дрожь передается и ему. Свобода Италии, свобода целой страны, которую так долго и так безжалостно топтали большие и маленькие Меттернихи, сияла в будущем, как звезда перед волхвами, и манила и звала к себе, за собой. Нервы напряглись, все приподняли головы, глаза у всех заблестели тем особенным блеском вдохновения, который говорит, что душа полна, что лишь торжественный гимн свободы может удовлетворить ее в одну минуту… Этих минут забыть нельзя.

Между тем события разыгрывались со страшной быстротой. Вести одна другой поразительнее долетали из Франции: король Луи-Филипп бежал, провозглашена республика, опять, как прежде, единая, нераздельная и даже perpétuelle – вечная.

«Завтра, – писал в апреле 1848 года Герцен, – мы едем в Париж. Я оставляю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая трамонтана[26] сильна, но что бы то ни было – благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе, и не сдует же всего реакция».

Герцен ехал из Италии влюбленный в нее, ему жаль было расставаться с нею: там встретил он не только великие события, но и первых симпатичных ему людей, – но все же он ехал.

«Мне, – говорит он, – казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх, и я с внутренним удовольствием смотрел в Чивитте на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова: „République française“.

В Париже Герцен застал республику, но вместе с нею и страшные июньские дни. Время блестящих фраз, конституций и

всемирного грома миновало. Четыре месяца ликований – в июне стали подводить итоги. В итоге оказался нуль полный, обидный, раздражающий. Что же случилось такое? «Французы, – говорит Герцен, – оказались французами, не больше». Раздраженный, обиженный, он дал когда-то излюбленной нации суровую характеристику.

«Французский народ восстает внезапно; неотразимый и грозный, как взбаламученное море, вступает он в борьбу со злом; противостоять ему, удержать его в эти минуты – невозможно, он берет Бастилию, берет Тюльери, он отражает целые армии. Это надо переждать. По мере того как он одолевает врага, силы его слабеют, ум тускнеет, энергия исчезает, он делается равнодушным к тому, за что проливал кровь. Еще подобный взрыв, как 24 февраля, и еще такое падение, как июньские дни, и европейские народы отвернутся от Франции и позволят ей бесплодно резаться, сколько угодно, не удостаивая ее ни симпатией, ни участием».

Ум французов тускнеет быстро, и виновата в этом прежде всего *фраза,* коль скоро она достаточно громко и блестяще высказана. Пусть смысл ее самый пошлый, даже гадкий, – не беда: ей будут внимать, в нее поверят.

«Француз, – продолжает Герцен, – не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах, он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром что бросается на него…»

Герцен припоминает даже обидное прозвище, данное Вольтером своему народу: le tigre-singe (тигр-обезьяна).

После пережитого разочарования трудно было дать другую характеристику. А разочарование на самом деле было огромное, коренное – на всю жизнь.

«Утомленная правлением банкиров, из которых главнейший, богатейший и ничтожнейший Луи-Филипп Орлеан занимал не принадлежавший ему престол, Франция, послушная голосу „пророков и апостолов“ демократии – Луи Блана, Ледрю-Роллена, Ламартина, восстала наконец в февральские зимние дни 48-го года. Сразу, резко, решительно выяснилось, что новое движение будет отличаться другим характером, чем прежние, что оно оставит старую проторенную дорожку парламентских деклараций, очень звучных и красноречивых, и повернет на иную дорогу – какую?»

Благоразумные люди предвидели и предугадывали ее. За два месяца до события Токвиль говорил своим друзьям и товарищам, начинавшим волновать Францию своими речами, банкетами,

статьями:

«Посмотрите, господа, что происходит в среде тех рабочих классов, которые в настоящее время спокойны. Правда, чисто политические страсти не волнуют их так же сильно, как волновали прежде, но разве вы не замечаете, что их страсти из политических сделались социальными? Разве вы не знаете, что среди них мало-помалу распространяются такие мнения, которые клонятся не к отмене тех или других законов, не к ниспровержению того или другого министерства, а к потрясению основ современного общественного строя? Разве вы не прислушиваетесь к тому, что говорят они ежедневно… Разве вы не слышите, что они постоянно утверждают, будто все, что выше их, неспособно и недостойно управлять ими, что до настоящего времени распределение земных благ между людьми было несправедливо, что право собственности утверждено на основах несправедливых?»

Нельзя было короче и проще сформулировать настроение демократии XIX века, чем это сделал Токвиль в приведенных фразах. Недостаточно политических прав, веротерпимости, грошовых газет и дешевых путей сообщения. К ужасу всех благомыслящих поднимался вопрос о собственности, ее основах, ее происхождении, о социальной справедливости и несправедливости. Вокруг этого-то пункта сосредоточились упования, привязанности, ненависть и надежды демократии XIX века. Но XIX век не оправдал ее надежд…

В дни с 24-го по 28-го февраля разыгралась страшная драма, за которой настали кровожадные июньские дни укрощения рабочих и низвержения еще недавно с таким красноречием провозглашенной новой республики.

«Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, выборные всей земли французской, ничего не делали и вдруг стали во весь рост, чтобы показать миру зрелище невиданное – восьмисот человек, действующих как один злодей, как один изверг. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрылось воплем мести и негодования, голос умирающего Афра не мог тронуть этого многоголового Калигулу; они прижали к сердцу национальную гвардию, расстреливавшую безоружных; Сенар благословлял Кавеньяка, и Кавеньяк умильно плакал, исполнив все злодейства, указанные адвокатским пальцем представителей. А грозное меньшинство притаилось, *гора* скрылась за облаками, довольная, что *ее* не расстреляли, не сгноили в подвалах; молча смотрела она, как отбирают оружие у граждан, как декретируют ссылки, как сажают в тюрьму людей за все на свете – за то, что

они не стреляли в своих братий…

Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не омочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан. По крайней мере большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие друзья народа, риторы, пустые сердца! Один лишь мужественный плач, одно великое негодование раздалось, и то вне камеры. Мрачное проклятие старца Ламенне останется на голове бездушных каннибалов и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнося слово «республика», испугались смысла его!..

Париж, вся Франция, вся Европа восстали на ими же провозглашенную демократию и высказались против ее торжества, – высказались со злобой, ожесточением, ударами штыков и выстрелами пушек».

Герцен пережил сам страшные июньские дни, пережил и торжество Наполеона III…

«Вечером 24-го июня, – рассказывает он, – возвращаясь с place Maubert, я взошел в кафе на набережной Orsay. Через несколько минут раздался нестройный крик и слышался все ближе и ближе; я подошел к окну: неуклюжие, плюгавые полумужики и полулавочники, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах шли быстрым, но беспорядочным шагом с криком: „Да здравствует Людовик-Наполеон!“ Этот зловещий крик я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать и, когда они поравнялись, закричал изо всех сил: „Да здравствует республика!“ Близкие к окну показали мне кулаки, офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя шпагой, и долго еще слышался их приветственный крик человеку, шедшему наказать собою Францию, забывшую в своей кичливости другие народы и свой собственный пролетариат…

25-го и 26-го июня в 8 часов утра мы пошли с А. на Енисейские поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временам только трещала ружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла национальная гвардия. На Place de la Concorde был отряд мобили; около них стояло несколько бедных женщин с метлами, несколько тряпичников и дворников из ближайших домов, у всех лица были мрачны и поражены ужасом. Мальчик лет семнадцати, опираясь на ружье, что-то рассказывал; подошли и мы. Он и все его товарищи, такие же мальчики, были полупьяны, с лицами, запачканными порохом, с глазами, воспаленными от неспаных ночей и водки; многие дремали, упирая подбородок на ружейное дуло. «Ну, уж тут что было, этого и описать нельзя, – замолчав, он продолжал. – Да и хорошо-таки дрались, ну, только и мы за

наших товарищей заплатили; сколько их попадало! Я сам до дула всадил штык пяти или шести человекам – припомнят!» – добавил он, желая выдать себя за закоснелого злодея. Женщины были бледны и молчали, какой-то дворник заметил: «Поделом мерзавцам!» – это дикое замечание не нашло сочувствия. Мы молча и печально пошли прочь…»

Так укрощались последние вспышки революции, так Луи Бонапарт прокладывал себе путь к императорскому престолу.

Мудрено было не разочароваться.

* * *

Вскоре Герцен стал подозрителен наполеоновской полиции, и ему пришлось бежать в Женеву.

Швейцария была тогда сборным местом, куда сходились со всех сторон уцелевшие участники европейских движений. Представители всех неудавшихся революций кочевали между Женевой и Базелем, толпы ополченцев переходили Рейн, другие спускались с С.-Готарда или шли из-за Юры. Кантональное правительство не гнало их, кантоны твердо держались за свое старинное право предоставлять убежище.

Точно участвуя в смотре, церемониальным маршем проходили по Женеве, останавливались, отдыхали и шли дальше все эти люди, которыми была полна молва. Приверженцы Луи Блана, Маццини, Кошута собрались в одном месте. Странная складывалась жизнь под постоянной угрозой нового изгнания и голодной смерти.

«Я должен сказать, – пишет Герцен, – что эмиграция, предпринимаемая не с определенной целью, а вызванная победой противной партии, замыкает развитие и утягивает развитие из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслью завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому, надежда мешает оседлости и длинному труду; раздражение и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание. Люди вообще, но пуще всего люди в исключительном положении, имеют такое пристрастие к формализму, к цеховому духу, к профессиональной наружности, что тотчас принимают свой ремесленнический, доктринерский тип. Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический замкнутый круг,

состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен».

Эмигранты 1849 года не верили еще, что враги их победили надолго, хмель недавних успехов еще не проходил у них, песни ликующего народа и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их поражение – минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана в комод. Между тем Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, Баден захватили пруссаки, Венгрию – князь Паскевич-Эриванский, Женева была битком набита выходцами. Они толпились в отеле, в почтовом кафе, на улицах. Умнейшие стали догадываться, что эта эмиграция не скоро кончится, поговаривали об Америке и уезжали. Большинство, и в особенности французы, верные своей надежде, совсем напротив, ждали всякий день смерти Наполеона и нарождения республики, демократической и социальной – одни, другие – демократической, отнюдь не социальной…

Что делать? Самым простым, естественным и вместе с тем самым невозможным делом оказывалось издание журналов. Это было тогда повальною болезнью. Каждые две-три недели возникали проекты, являлись образчики, рассылались программы, потом выходило номера два-три – и все исчезало бесследно. Люди, ни на что не способные, все еще считали себя способными издавать журнал, собирали сто-двести франков и употребляли их на первый и последний листы.

Тянулась скучная, однообразная и вместе с тем тревожная жизнь… Не умер ли Наполеон, не восстала ли вновь Венгрия, Италия?… Эти вопросы задавались каждое утро целые месяцы, целые годы… Пока же изобретались теории и проекты. Эмигрант Струве надоедал всем своей теорией семи бичей, эмигрант Гейнцен требовал двух миллионов голов для очищения человечества. Споры между социалистами и чистыми демократами волновали пропитанную дымом атмосферу кафе, не приводя ни к чему, кроме личного раздражения. Мучительно было жить среди этих людей, сбитых с пути, затоптанных в пыль и грязь, которым лишь один слепой фанатизм давал какое-то утешение.

Вожди были тут же, но это мало помогало делу. В Женеве, между прочим, жил в то время знаменитый Мацини. Герцен знал его, виделся с ним, и вот что он о нем вспоминает:

«Мацини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре: он едва может

скрыть досаду при противоречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками дикториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Мацини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое слово и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью. Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собою и шедших к общей цели. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мелькали и исчезали в Апеннинах или Альпах, в царственных palazzi аристократов и в темных переулках итальянских городов. Сельские попы, кондуктора, ломбардские принчипе, контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты – все шло на дело, все были звенья цепи, примыкавшей к нему и повиновавшейся ему. Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандьер, ряд за рядом выходят восторженные юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, и идут по указаниям Мацини, рукоположенного старцем Бонаротти, – идут на неравный бой, пренебрегая цепями и примешивая иной раз к предсмертному крику: „Viva l'Italia! Evviva Mazzini!“

Но Мацини был редкость, исключение, вождь; обычные дела приходилось вести с обычными людьми, а это было тем труднее, что почти все эти дела вращались около денег. Одним из самых серьезных бедствий эмигрантов – бедствием, добивавшим их окончательно, – была почти поголовная нищета и чисто органическая неспособность трудиться после революционного угара. На Герцена, человека богатого, смотрели как на кредитное учреждение, а к чему приводил такой взгляд, понять легко. В качестве примера расскажу один эпизод. Исправлявший некогда должность министра внутренних дел временного германского правительства написал Герцену записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу; Герцен предложил переписывать для печати рукопись «Vom andern Ufer» («С того берега»), которую он сам диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал, что помещен дурно, что у него нет ни места, ни тишины, чтобы заниматься, и просил позволения переписывать в комнате сожителя Герцена, Кана. И тут работа не пошла. «Министр» приходил в 11 часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво и уходил вечером куда-нибудь на сходку. Через несколько

дней он попросил у Герцена запиской сто франков вперед за работу. Герцен послал двадцать, за что немецкие эмигранты решили с ним не кланяться.

* * *

Во время своего пребывания в Женеве Герцен написал памфлет «С того берега». В каком настроении создавалась книга?

«Страшное это время, – говорит он, – было в моей жизни. Штиль между двух ударов грома, штиль томящий, тяжелый, но неказистый; приметы грозили пальцем, но я и тут еще отворачивался от них. Жизнь шла неровно, нестройно, но в ней были светлые дни, за них я обязан величественной швейцарской природе. Даль от людей и изящная природа имеют удивительное целебное влияние. Я по опыту писал в „Поврежденном“. Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании, ему нужны даль и горы, море и теплый воздух. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтобы он не зачерствел».

За полтора года, проведенные Герценом в средоточии политических смут и распрей, в постоянном раздражении, в виду кровавых зрелищ, страшных падений и мелких измен, в душе его скопилось много горечи, тоски и усталости. Ирония его принимала другой характер; утерявши свое добродушие, она стала колоть, резать. Грановский, прочтя в это время «С того берега», писал ему:

«Книга твоя дошла до нас, я читал ее с радостью, с гордым чувством. Но при всем том в ней есть что-то усталое; ты стоишь слишком одиноко и, может, сделаешься великим писателем, но что было в России живого и симпатичного для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чужой почве…»

Грановский прав: Герцен за границей стал писать неизмеримо лучше, чем писал в России, но это было другое: от проповеди, от зова вперед он перешел к исповеди. Вскоре прошлое стало главной, почти единственной темой его дум, а *прошлое* – хорошее или дурное – всегда грустно.

«Но мог ли, – спрашивает Герцен, – человек пройти искусом 1848 и 49 гг. и остаться тем же? Я сам чувствовал эту перемену. Только дома, без посторонних, находили прежние минуты, но не светлого смеха, а светлой грусти; вспоминая былое, наших друзей, вспоминая недавние картины римской жизни возле кроватки спящих детей или глядя на их игру, душа настраивалась

как прежде, как некогда – на нее веяло свежестью, молодой поэзией, полной кроткой гармонией; на сердце становилось хорошо, тихо и под влиянием такого вечера легче жилось день, другой…»

В эти-то дни раздумья, полной неизвестности насчет будущего и появился памфлет «С того берега». Он был как бы итогом революционной бури, пронесшейся над Европой. Теперь с этим итогом не согласиться нельзя. В свое же время он не удовлетворял никого. Надежда еще не остыла тогда, и верующие сочли Герцена изменником, защитники старого были также недовольны: *им* Герцен *не* обещал победы…

Суровую оценку «С того берега» находим мы в сочинениях А.М. Скабичевского. Сущность его мыслей сводится к следующему.

Формы европейской гражданственности, по мнению Герцена, ее цивилизация, ее добро и зло разочтены иначе, развились из иных понятий, сложились по иным потребностям. До некоторой степени формы эти, как все живое, были изменяемы, но, как все живое, изменяемы до некоторой степени; организм может воспитываться, отклоняться от назначения, прилаживаться к влияниям до тех пор, пока отклонения не отрицают его собственности, его индивидуальности, того, что составляет его личность; как скоро организм встречает такого рода влияния, начинается борьба, и организм побеждает или гибнет. Явление смерти в том и состоит, что составные части организма получают иную цель; они не пропадают; пропадает личность, а они включаются в последовательность совсем других отношений, явлений.

Подобного рода сравнения на первый взгляд представляются остроумными и заманчивыми. Но начните вдумываться в них и вы увидите, что, с одной стороны, здесь смешиваются понятия народного организма, форм общественных отношений и цивилизации; с другой стороны, в основе лежит гипотеза весьма шаткая и до сих пор не доказанная, именно та, что будто общественные организмы совершенно аналогичны с животными и подчинены тем же законам жизни и смерти. Если бы даже подобная гипотеза и была доказана, то и в таком случае мы не имели бы права судить о том, разлагается ли европейская цивилизация или нет, имея в руках такое неопределенное мерило, как отношение сложившихся исторически форм жизни к пережитым идеям. Как ни худы эти формы, но люди к ним привыкли, обжились в них; новые же идеи так недавно появились, что большинство даже и не знает об их существовании; другие так мало еще вникли в них, что скользят по ним поверхностно,

весьма смутно сознавая их. Мы не знаем поэтому, что будет.

И дальше:

Естественно, что вполне на почву фантазии становится Герцен, когда он переходит к предсказаниям будущего. По его мнению, «одно утешение и остается, что будущие поколения выродятся еще больше, еще больше обмелеют, обнищают умом и сердцем, им уже и наши дела будут недоступны, и наши мысли будут непонятны. Народы перед падением тупеют, их понимание помрачается, они выживают из ума, как эти Меровинги, зачинавшиеся в разврате и кровосмешениях и умиравшие в каком-то чаду, ни разу не пришедшие в себя; как аристократия, выродившаяся до болезненных кретинов, измельчавшая Европа изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах, без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии. Слабые, хилые, глупые поколения протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению летописей. А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске; варварство младенчества, полное неустроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство; дикая, свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории. Основной тон его мы можем понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией… Вечная игра жизни, безжалостная смерть, неотразимая, как рождение, corsi e ricorsi[27] истории, perpetuum mobile маятника».

Скабичевский совершенно прав: Герцен на самом деле слишком много фантазирует, когда говорит о будущем, он слишком субъективен, слишком лирик, чтобы можно было положиться на его предсказания. Но в статье «С того берега» есть другая сторона, обратить внимание на которую мне представляется безусловно необходимым. Статья – свидетельство того, что Герцен если не первый понял, то по крайней мере первый отметил совершенно особенный характер революции 1848 года.

Социалисты ведут с нее свою эру. В февральские дни шла речь не о конституциях, не о праве народностей на самостоятельное существование – хотя и это все было, – а о том, должны ли существовать *прежние формы* собственности или нет?

Центральным вопросом был вопрос о труде и праве на труд. Правда, этот вопрос поднимался и раньше, но сами рабочие своих прав так громко и решительно, как в 1848 году, не заявляли еще никогда.

После 1848 года слова «свобода», «республика», «парламент» утеряли значительную долю своего обаяния; из области политической и религиозной центр тяжести европейской жизни переместился в экономическую. Как ни резка формула: «Die Socialfrage ist die Magenfrage»[28] – она справедлива.

В Западной Европе теперь нет классов, нет сословий; или, лучше сказать, там только два класса, два сословия: собственники и пролетарии. Как две враждебные армии, стоят они друг против друга: посреди ровное поле, на котором в 1848 году и произошла решительная стычка. Победа, разумеется, осталась на стороне первых. Все правительства и элементы порядка примкнули к ним. Стычки с той поры не прекращаются; они обагрили кровью Париж в дни Коммуны, переметнулись за океан, в Америку, и стали там почти обычным явлением.

Перед грозным вопросом труда бледнеют все остальные.

С 1848 года политические и социальные реформаторы разделились и пошли по разным дорогам. Мацини – демократ и революционер – стал писать брошюры против социализма; для либералов Маркс не может представляться иначе, как чудовищем; Лассаль всю жизнь вел жестокую борьбу со свободомыслящими. На знамени одних было написано: «Свобода и прогресс», на знамени других: «Право труда».

Вот что Герцен понял и вот что он первый высказал. Увидя, что, не разрешив вопроса о труде, нельзя сделать и шагу вперед, он отшатнулся от либерализма и либеральной Европы; откровенно сказал он им: «Вы пережили себя, вам нечего больше делать». Но может ли не только либеральная Европа, а Европа вообще разрешить социальный вопрос? Прямо Герцен никогда не отвечал на это, он ограничивался утверждением, что, не разрешив его, Европа погибнет. Во всяком случае он предвидел долгую, упорную борьбу, – борьбу целых столетий.

Сила европейского мещанства, его живучесть поражали Герцена. Он презирал мещанство, относился к нему резко и круто и все же сознавал, что история принадлежит ему, надолго ли – Бог весть.

«Тяжелое здание феодализма рухнуло, долго ломали стены, отбивали замки… еще удар, еще пролом сделан; храбрые – вперед, ворота отперты, – и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такие? Из какого века? Это не спартанцы, не великий populus romanus[29]… Davus sum, non Aedipus![30]

Неотразимая волна грязи *залила* все. В терроре 93 и 94 гг. выразился внутренний ужас якобинцев; они увидели свою страшную ошибку, хотели ее поправить гильотиной, но сколько ни рубили голов, все-таки склонили свою собственную перед силою восходящего слоя. Все ему покорилось, он сломил революцию и реакцию, он затопил старые формы и наполнил их собой, потому что он составлял единственное деятельное и современное большинство».

«Мы, – говорит в другом месте Герцен, – вообще знаем Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаем ее, а судим à livre ouvert, [31] по книжкам и картинкам… Поживши год-другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они гораздо ниже его… В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или не существующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов – все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов – мещанских. Они составляют целое, т. е. замкнутое, оконченное в себе воззрение на жизнь, со своими преданиями и правилами, со своим добром и злом, со своими приемами и со своей *нравственностью низшего порядка.*

Хаотический простор этот особенно способствовал развитию всех мелких и дурных сторон мещанства, под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания.

Разберите моральные правила, которые в ходу с полвека; чего тут нет? Римские понятия о государстве с готическим разделением властей, протестантизм и политическая экономия, Salus populi[32] и chacun pour soi,[33] Брут и Фома Кемпийский, Евангелие и Бентам, превосходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. С таким сумбуром в голове и с магнитом, вечно притягиваемым к золоту, в груди – нетрудно было дойти до тех нелепостей, до которых дошли передовые страны Европы, между ними и Англия.

Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий – хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек de facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег.

Политический вопрос с 1830 года делается исключительно вопросом мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечениями господствующего состояния, жизнь свелась на

биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки – редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют свою старую церковь – Old Shop (старая лавочка).

Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главных стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой, – неимущие мещане, которые хотят вырвать из рук их достояние, но не имеют силы, т. е. с одной стороны – скупость, с другой – зависть. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, т. е. собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как качка парламентских прений, – она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Мещанские вопросы – это ordre du jour,[34] само мещанство – грозная, могучая сила. Под его влиянием все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех (т. е. для всех имеющих деньги).

Такова, – рассказывает Герцен, – общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современное западное состояние наибольше развито, там, где оно вернее своим началам, где оно богаче, образованнее, т. е. промышленнее. И вот отчего где-нибудь в Италии или в Испании не так невыносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции. И вот отчего горная, бедная сельская Швейцария – единственный клочок Европы, в который можно удалиться с миром».

Боюсь, что, прочтя эти суровые, мрачные строки, читатель причислит Герцена к разряду пессимистов; боюсь потому, что более грубой ошибки нельзя и сделать. Он не стал пессимистом, а распростился с последними следами романтизма, юности, Шиллера. Его мировоззрение получило в страшную годину 1849 года последнюю отделку, оно отчеканилось уже на всю жизнь…

Не надо обманываться внешностью. В Герцене сильна художественная закваска, поэтому он слишком сильно подчиняется настроению и передает нам его в сконцентрированном виде. Несомненно, что он разочаровался во многом, несомненно, что его семейные дела обстояли

неблагополучно, но даже и теперь его не покидает трезвость мысли, даже и тут не доходит он до отчаяния…

Не пессимизм проповедует он, не отрицание, а, если позволительно так выразиться, антиромантизм, то есть признание истины, какой бы она ни была, и смирение (это его собственное слово) перед ней. Последовательный реализм не может не закончиться этим.

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», – говорил когда-то Пушкин. Прав он или не прав – спор бесконечный. Одному нужен обман, нужна иллюзия как источник вдохновения, энергии, самой жизни; другой способен обойтись без обмана и без иллюзии и работать, питаясь одной черствой коркой истины. Последнее, разумеется, труднее, но зато и безопаснее; с истиной, хотя бы и самой низкой (вообще говоря, ни низких, ни высоких истин нет, как нет истин ни красных, ни зеленых), не оступишься, а с «нас возвышающим обманом» оступиться легко, да еще как…

И до поездки за границу Герцен проповедовал, что жизнь – не роман, что устраивается она совсем не так, как мы того хотим; за границей эта истина предстала перед ним во всей своей суровой и жестокой наготе, а главное, уж в слишком большом масштабе. Первое время это было мучительно тяжело, как мучительно тяжела смерть дорогого человека, хотя бы о неминуемости ее было заведомо известно целые месяцы и годы. Но надо смириться… Во имя чего же?

«Нас сердит, выводит из себя нелепость, несправедливость жизненных фактов, – пишет Герцен. – Как будто кто-нибудь (кроме нас самих) обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти, как по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития, пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль – это заключение; все начинается тупостью новорожденного, возможность и стремление лежат в нем, но прежде чем он дойдет до развития и сознания, он подвергается ряду внутренних и внешних влияний, отклонений, остановок…

Сознание бессилия идеи, отсутствие обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Мы скорбим, болеем. Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется, ее почти нет в Новом Свете – Соединенных Штатов.

Но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и

покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы – его похмелье, мы – его боли родов.

Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на грудах трупов – ей все равно, она продолжает свое, или так продолжает, что попало – десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили прогрессу… Чем-нибудь послужим и мы… Войти в будущее как элемент – не значит еще, что будущее исполнит наши идеалы. Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная западная мысль воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место так, как тело наше войдет в состав травы, людей. Нам не нравится это бессмертие, что же с ним делать?…»

Только одно: быть рыцарем истины.

* * *

Следить за постоянными странствованиями Герцена с места на место, из страны в страну у меня нет ни возможности, ни желания. Упомяну лишь о важнейших эпизодах последнего периода его жизни.

Несчастья, праздность и нужда внесли в жизнь эмиграции нетерпимость, упрямство, раздражение. Она разбивалась на маленькие кучки, средоточием которых являлись имена, чувства, а не принципы. Взгляд, постоянно обращенный назад, и исключительно замкнутое общество портили характер, развивали злобу. Жить в этой обстановке, дышать этой атмосферой было невыносимо тяжело. Надежды не оправдывались, сознание не двигалось ни на шаг, мысль дремала. Примириться с действительностью не хотелось, да и трудно было сделать это людям, чья жизнь оказалась проигранной картой.

Из Женевы Герцен уехал в Цюрих, из Цюриха – в Париж, но уехать от себя, от истории, от действительности было некуда. Жизнь шла своей дорогой и каждым фактом своим говорила, что ей нет ни малейшего дела до желаний и надежд человеческих.

Пришлось признать власть жизни, пришлось уступить ей.

«Печально сидел я раз, – пишет Герцен, – в мрачном, неприятном Цюрихе, в столовой у моей матери… Я уехал на другой день в Париж… День был холодный, снежный, два-три полена нехотя, дымясь и треща, горели в камине, все были заняты укладкой, я сидел один-одинехонек… женевская жизнь носилась

перед глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если бы я мог, я бросился бы на колени, я плакал бы и молился бы, но я не мог и вместо молитвы написал *проклятие…»*

Разумеется, не Париж мог успокоить гордую, встревоженную душу. Париж того времени признал Наполеона и лежал у его ног без мысли, без собственного достоинства. Его тешили и развлекали. Император сказал, что он должен быть первым городом, и Париж на самом деле становился им. Возводились новые кварталы, всюду шли постройки, всюду гремела музыка. Гюго с острова Джерсея слал свои проклятия, свою ненависть; его никто не слушал, его некому было слушать.

Империя торжествовала, торжествовала не только потому, что Луи Бонапарт сидел на престоле, а потому, что ее принципы вошли в жизнь и пронизали ее. В сущности все эти принципы сводились к одному: надо наслаждаться… Наслаждений искали жадно, плохо разбирая, какие они; на них бросались, как голодные на хлеб, упивались ими, как пьяница вином. «Мещанство заполонило жизнь. Оно развило биржевую игру до азарта, громадными буквами написало оно на своем знамени: „нажива и наслаждение“.

Безумная роскошь царила в Тюильри, жажда такой же безумной роскоши царила в жизни. Престол, занятый авантюристом, задавал тон везде – в Париже, во Франции, даже в Европе. Всюду пошли наполеоновские эспаньолки, наполеоновские усы. Старались молчать, как молчал император, с выражением полнейшего равнодушия в лице, старались говорить, как он, отрывистыми, как бы неохотно брошенными фразами. Как одному человеку, решительно ничем не замечательному, удалось наложить печать на всю жизнь, пустить в европейское обращение даже свою прическу – это загадка.

«В Париже, – пишет Герцен, – я видел только Бонапарта. Он, очевидно, вездесущ. В ресторане он сидит против вас и ест трюфеля в салфетке, в театре он рядом с вами, на улице он ежеминутно попадается вам на глаза. Бежать от него, уйти, не видеть его невозможно».

Наполеон и торжествующее мещанство – вот все, что приходилось видеть в Европе; все остальное было в тени, загнано в угол. «Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни… Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатлевались так глубоко, так многосторонне на людях, как буржуазия…» Сила его, громадная историческая сила в том, что оно ни к чему не обязывает, ничего не требует от человека, кроме уменья быть «удачником».

В Париже Герцену, разумеется, не разрешили остаться и попросили выехать в двадцать четыре часа. Срок удалось увеличить до одного месяца, по истечении которого пришлось покинуть прекрасную Францию с ее бонапартами, большими и маленькими. Начались скучные годы скитаний из города в город, из страны в страну. Бездомная жизнь тяготила, неприятности сыпались градом. В 1852 году умерла Наталья Александровна, в предшествующем (1851) Герцен потерял мать и младшего сына, Колю. Как было не поддаться грусти возле трех дорогих могил, тем более что в одной из них скрылась жизнь, почти целиком истраченная на невысказанные и непонятные муки.

Глава X. Герцен и Россия

Соберу вместе данные об отношении Герцена к России.

«Рядом со скептическим, бесстрашным умом, так легко освободившимся от преданий и заветов „несуществующей русской старины“, умом, начавшим свою работу без воспоминаний о вчерашнем дне, без инстинктов, без преград, поставленных жизнью и историей, а в дни юности радостно принимавшим все выводы „свирепой имманенции“, чего бы они ни касались: Бога, религии, допетровской старины, русской общественности, Герцен обладал в высшей степени живым, даже страстным темпераментом, который не позволял ему ни на минуту оставаться на месте, в покое, постоянно толкал его в самую свалку жизни и делал его агитатором, хотя для такой роли он был слишком фанатик и слишком много скептик. Его радовала борьба, он упивался ее атмосферой, он любил ее, и вдохновенную, и напрягающую все силы человека».

Он долго готовился к борьбе. Готовился наукой и жизнью. Его положение, аресты и ссылки, обширный круг знакомых давали ему большой жизненный опыт.

Неспособный уйти в себя, в свою скорлупу, он открытыми глазами смотрел на свет Божий, и – нечего и говорить – современная ему официальная Россия – Россия чиновников, генералов, помещиков – представлялась его глазам почти что сплошным черным пятном.

Он скорбел, негодовал, мучился. Целые годы лелеял он мечту уехать на Запад, в Европу, эту страну святых чудес для поколения тех дней, но его не пускали. Он поневоле сидел дома и наблюдал.

Поучительны наблюдения этого крупного человека, этого рыцаря в полном смысле слова, очутившегося в обстановке рабской России тридцатых, сороковых годов.

Вот что пишет он, например, в своем дневнике:

«6 апреля, 1842 г. Все пугают меня ужасными последствиями отставки, но, так и быть, лучше год лишней ссылки, но спокойное употребление времени. Один большой плут предлагает выпутаться деньгами; быть может, оно и так: деньги у нас всемогущи. Вот состояние! Одно желание – силы, силы перенесть еще… сколько – ну, наверное, три года – этих гонений!»

«1843, 14 января. Правительство подыскивает и приготовляет ловушки славянофилам… Надобно слуг и солдат, которых вся жизнь проходит в случайных интересах и которые принимают за патриотизм дисциплину. Перед Рождеством Клейнмихель велел посадить на гауптвахту двух цензоров за непонравившееся ему

выражение об офицерах. Вряд поймут ли, сообразят ли европейцы этот случай. Министр инженерный, который только начальник публичных работ, военный, приказал арестовать чиновников, служащих по иному ведомству и для которых, как для всех, есть же законный суд, вследствие которого можно наказать. Вроде осадного положения».

«28 февраля. Завтра выйдет в Петербурге № 3 „Отечественных записок“, в котором моя статья о романтизме. Или цензура ее изуродует, или эта статья может принести последствия. Может, третью ссылку. Горько будет, но я готов… Странная жизнь! Но жребий брошен, я не могу жить иначе, нечто похожее на призвание заставляет подымать голос, а они не могут вынести человеческого голоса. И вдруг вместо ссылки – дозволение ехать (за границу)… И счастье, и несчастье, втесняемое внешней, неразумной силой, противны и оскорбительны… В обоих случаях личность человека подавлена».

«4 ноября… Конечно, незавидное было время тогда (при Александре I), но какая разница! Что-то гуманное, кроткое, хранившее благопристойность было в правительстве. Нынче маска не считается нужной. Недавно секли инженерных юнкеров и потом на 6 лет в солдаты за какую-то детскую шалость… Боже мой!..»

«10 ноября. Читал V том Кюстина. Книга эта действует на меня, как пытка, как камень, приваленный к груди… И это страшное общество, и эта страна – Россия…»

Я не стану больше следить за признаниями впечатлительной и глубокой натуры Герцена. Важно, что он писал сам для себя, с полной откровенностью. Конечно, он больше других и больше чувствовал. Но разве не то же обвинение слышите вы в словах Никитенко? Гнет России, вырастившей мрачное вдохновение Гоголя – «policée non civilisée» (с полицией, но не цивилизацией), как остроумно заметил о ней де Кюстин, – России запуганной, где даже веселая жизнерадостная песня «Gaudeamus igitur»[35]* была переделана в другую:

Taceamus igitur[36]
Russi dum sumus, —

гнет такой России давал себя чувствовать каждому… «Россия, Петербург, снег, подлецы, подлецы, департамент, кафедры, театр – все это мне снилось», – писал Гоголь, попав в Италию…

И этот приговор, эти крик и вопль, эта жажда видеть вокруг себя людей, в себе самом – человека были общими.

«1842, 29 июля. Пушкин в „Онегине“ представил отрадное

человеческое явление во Владимире Ленском, да и пристрелил его, и за дело. Что ему оставалось еще, как не умереть, чтобы остаться благородным, прекрасным явлением… Все выходящее из обыкновенного ряда (у нас) гибнет».

«11 сентября. Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем наши страдания – почка, из которой разовьется их счастье. Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем всяких наслаждений, пьем вино и пр. Отчего руки не поднимаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски?… Была ли такая эпоха (как наша) для какой-либо страны? Рим в последние века существования – и то нет… Нас убивает пустота и беспорядочность в прошедшем, как в настоящем – отсутствие всяких общих интересов».

«6 ноября. Боже праведный! В образованных государствах каждый чувствующий призвание писать старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талант свой; у нас весь талант должен быть употреблен на то, чтобы закрыть свою мысль под рабски вымышленными условными словами и оборотами».

Что же, впрочем, другого можно было ожидать, когда в жизни господствовала казенная система?

Что же представляла собою эта система?

Систему государственной жизни, основанную на начале сословного разделения, на крепостной кабале массы народа, на обостренном чувстве национализма.

А.Н. Пыпин дает ей такую характеристику:

«Возвещение и ограждение словом и делом неограниченного монархического начала; поглощение властью, сосредоточенной в одной воле, всех сил народа, что особенно поражает в колоссальном развитии административного элемента; обрусение иноплеменных элементов; стремление создать, хотя бы насильственным образом, единство вероисповедания, законодательства и администрации; подавление всякого самостоятельного проявления мысли как в литературе, так и обществе, и надзор над нею; регламентация и полицейские меры даже в том, что наименее подлежит им, – все это неопровержимо обличает у нас присутствие системы». («Характеристика литературных мнений от 20-х до 50-х годов», стр. 97).

Я не стану рассказывать о том, как выросла эта система в долгом и мучительном процессе собирания земли, борьбы с монголами, закабаления крестьян, развития московского деспотизма и единоволия, в борьбе церкви с еретиками; как окрепла она благодаря духовной низменности нашего дворянства, невежеству масс, холопству служилых людей. К концу XVIII века,

когда в крепости томились Радищев и Новиков – эти бунтари пера и мысли, – система, защищаемая то тайной канцелярией, то тайной экспедицией, стояла уже перед русским человеком во всем своем грозном величии и каменной неподвижности. Эпоха Николая I, над которой свинцовой тучей навис страх перед повторением бунта декабристов, провела ее последние штрихи.

Министр народного просвещения граф Уваров посмотрел в корень вещей и увидел, что в основании системы лежит крепостное право, а попросту – рабство народа. Он писал по этому поводу:

«1) Вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии, даже единодержавии.

2) Это две параллельные силы, как развивавшиеся вместе. У того и другого одно историческое начало, законность их одинакова.

3) Что было у нас прежде Петра I, то все прошло, кроме крепостного права, которое, следовательно, не может быть тронуто без всеобщего потрясения.

4) Крепостное право существует. Какое бы то ни было нарушение его повлечет за собой неудовольствие дворянского сословия, *которое будет* искать себе вознаграждения где-нибудь, а искать негде, кроме области самодержавия…

5) Могут отделиться даже части – остзейские провинции, самая Польша» и так далее все в том же тоне. (См. Барсуков. «Жизнь и труды М.П. Погодина». Т.9, стр. 305–309).

В этих строках и философия системы, и желание запугать. Философия плоха и низменна, как все устрашающее; угроза – велика. Видна узкая себялюбивая проницательность, так как крепостное право объявлено непоколебимым.

Система начинала преследовать человека с того дня, как он родился, и во всяком случае с того, как он поступал в школу. Герцен превосходно это понял, и его строки дышат озлоблением и печалью.

«Пока умы (после декабрьской катастрофы 1825 года), – говорит он, – оставались в тоске и тяжелом раздумье, не зная, куда идти, „система“ шла себе с тупым, стихийным упорством, затапливая все нивы и всходы. Знаток своего дела, она (система) с 1831 г. начала воевать с детьми. Она поняла, что в ребяческом возрасте надобно вытравлять все человеческое, чтобы сделать „благонамеренных“ по образу и по подобию своему.

Воспитание, о котором мечтали, сложилось. Простая речь, простое движение считалось такою же дерзостью, преступлением, как раскрытая шея, как расстегнутый воротник. И это избиение душ младенческих продолжалось 30 лет.

Отраженной в каждом инспекторе, директоре, ректоре, дядьке – стояла система перед мальчиком в школе, на улице, в церкви, даже до некоторой степени в родительском доме, стояла и смотрела на него оловянными глазами без любви, и душа ребенка ныла, сохла и боялась, не заметят ли глаза какой-нибудь росток свободной мысли, какое-нибудь человеческое чувство.

А кто знает, что за химическое изменение в составе ребяческой крови и нервной плазмы делает застращенное чувство, остановленное слово, слово скрывшееся, чувство подавленное?

Испуганные родители помогали «системе»; они скрывали от детей единственное благородное воспоминание, чтобы спасти их неведением. Молодежь росла без традиций, без будущего, кроме карьеры. Канцелярия и казармы мало-помалу победили, победили гостиную и общество, аристократы шли в казармы, Клейнмихели – в аристократы; ограниченная личность начальника мало-помалу отпечатывалась на всем, всему придавая какой-то казенный, правильный вид, все опошляя».

Это важно, что опошление и порча дошли до детей, хотя русская жизнь в этом отношении последовательна: реакция шестидесятых годов закрепилась введением классической системы (1866 год), еще худшей, более формальной и подозрительной, чем система Николая I.

Скверно жилось детям. Трудно, впрочем, сказать, кому хуже: детям или взрослым?

Об этой жизни взрослых у нас остались такие поразительные правдивые документы, как «Дневник» Никитенко, охватывающий всю эпоху, и «Дневник» Герцена за три года. И там и здесь без прикрас, без художественных гипербол выступает на сцену вся подлая, страшная правда жизни.

Все было построено *на отрицании личности,* ее исканий, ее самостоятельной инициативы, ее мысли. Время, когда каждый генерал мог остановить любого прохожего на улице, сделать ему замечание или отправить его под арест, время, когда, по словам Николая I, «и генералу не всякую книгу можно читать», время ссылок, шпицрутенов и розог вырвало у Герцена такие слова:

«Если бы Россия не была так пространна, если бы чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя было бы жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство».

Нельзя жить почему? Потому, что:

«свобода лица есть величайшее дело, на ней и только на ней может вырасти действительная свобода народа. В себе самом

человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближних, как в целом народе».

У нас – ничего подобного. «У нас лицо всегда подавлено, поглощено». У нас нет ни свободной личной, ни общественной жизни.

У нас только государство и его слуги – казенные человеки. У нас лишь вынужденное стремление приобрести покровительственную окраску, или молчание, или лицемерная трусливая мысль.

Естественно, что лучшее свое создание – «С того берега» – Герцен называл «дерзким протестом независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи, против нелепых идолов».

Насколько это было возможно сделать в небольшой брошюре, посвященной преимущественно биографическим данным, я охарактеризовал литературную деятельность Герцена в России до 1846 года. В этом году он уехал за границу и навсегда простился с родиной. Мы видели потом его первые восторги перед Европой или, лучше сказать, перед революцией 1848 года, его скорое разочарование. Он понял, что из этой революции не вышло ничего и еще долго ничего не выйдет. В сущности даже, она способствовала укреплению мещанства и капитализма, потому что разбитый в июньские дни пролетариат замолчал вплоть до Коммуны в Париже и Интернационала, то есть больше, чем на 20 лет…

В 1848 – 50 годах Герцен лучшую книгу свою «С того берега» построил на мысли: «Прощай, *отходящий* мир, прощай, Европа!»

Написав эти слова, он с ужасом спрашивает: а мы что сделаем из себя?

«Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к другому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные со средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других, – нам нет места ни за одним столом. Люди отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности.

Идти бы прочь… Своею жизнью начать освобождение, протест, новый быт…

Как будто мы в самом деле так свободны от старого? Разве наши добродетели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежат этому миру, с которым мы развелись только в убеждениях?

Что же мы сделаем в девственных лесах? Мы, которые не

можем провести утра, не прочитав пяти журналов, мы, у которых только и осталось поэзии в бое со старым миром, что… Сознаемся откровенно: мы плохие Робинзоны.

Разве ушедшие в Америку не снесли с собою туда старую Англию?

И разве вдали мы не будем слышать стоны, разве можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши – преднамеренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побежденным, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободною речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею.

Итак, пусть раздается наше слово!

…И кому говорить?… о чем? – я, право, не знаю, только это сильнее меня…

Париж, 21 декабря, 1849 г.»

Очевидно, что в один из моментов 1850 года Герцен не видел перед собой *никакого* выхода. Это был приступ мрачного разочарования, тяжелой меланхолии.

Но скоро все же он нужный ему выход нашел.

Как? Я не знаю. Никто не знает. Сам Герцен об этом молчит.

Будущему биографу Герцена придется очень и очень поработать над этим коротким периодом на границе 1850 и 1851 годов, периодом всего в несколько месяцев, чтобы объяснить, как это случилось. Это большая психологическая задача, большая психологическая трудность.

Ясен лишь факт, его внешняя сторона.

В 1850 году, когда Герцен заканчивал «С того берега», он как бы не думает о России совсем. Ни звука о ней. Он весь полон впечатлениями западной жизни и своими разочарованиями в ней.

В 1851-м он вспомнил о России. Больше: далекая родина, теперь уже навсегда им покинутая, стала предметом самых задушевных его дум и великих мечтаний.

В ней-то, в ее молчании, в ее несчастной *мужицкой* жизни он нашел то, чего не дал ему Запад: веру в будущее людей, будущее человечества.

По-прежнему ненавидит он официальную Россию, ее приказных, генералов и палачей. Но *мужик* огромно вырастает в его глазах. На вере в него Герцен строит новое миросозерцание.

Причины этого, повторяю, сложны. Но повод очевиден. Именно: в журнале «L'Evenement» с 18 августа по 17 сентября 1851 года печаталась «Легенда о Костюшко» знаменитого историка Мишле. Мишле проводил между прочим ту мысль, что «России не существует, что русские люди – не люди, что они

лишены нравственного смысла»…

Герцен заступился за русский народ, за мужика.

«Если вы разумеете Россию официальную, – писал он Мишле, – царство-фасад, византийско-немецкое правительство, то вам и книги в руки. Мы соглашаемся вперед со всем, что вы нам скажете.

Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем труде; вы затрагиваете вопрос более глубокий: вы говорите о русском народе…

Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту! Посудите сами, могу ли я молчать?…»

И он не молчит.

«У русского крестьянина, – пишет он, – нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; эта нравственность глубоко народная; немногое, что известно ему из Евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его еще больше к его правам и к общинному устройству.

Община спасла русский народ от монгольского варварства и от канцелярской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; *она благополучно доросла до развития социализма в Европе.*

Это обстоятельство бесконечно важно для России…»

«Народ начинает роптать под игом помещиков; беспрестанно вспыхивают местные волнения. Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян».

Герцен думает (1851 год), что мы накануне этого освобождения, и опять возвращается к общине:

«Какое счастье для России, – пишет он, – что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая без сомнения подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания».

«Европа на первом шагу к социальной революции встречается с русским народом, который представляет ему осуществление полудикое, неустроенное, но все-таки осуществление постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше как закваска, как средство, как посредники между русским народом и революционной Европой.

Человек будущего в России – мужик, точно так же, как во Франции – работник».

В этих строках вы встречаете все посылки нашего *народничества.* Здесь впервые высказаны они ясно и определенно; здесь говорится об особом счастье России, сохранившей свою общину, а сама община со своим

переделом земель рассматривается как превосходная почва для осуществления идей социализма.

«Человек будущего в России – мужик», – говорит Герцен, и сколько десятков, даже сотен раз у М. Михайлова, Чернышевского, Лаврова, Михайловского будет повторяться этот лозунг русской литературы… Это и лозунг, и боевой клич, дающий основание, между прочим, и для того, чтобы прямолинейно и резко порицать промышленный строй Европы, ее мещанскую жизнь, мещанскую конституцию…

Живым сознательным нравственным телом является община в глазах Герцена; живою сознательной нравственной личностью – русский мужик. Любовно и с умилением говорит он о них и в своей статье «Русский народ и социализм» (1857), и в статье, написанной два года спустя («Крещеная собственность»). Совсем не слепой исторической случайностью объясняет он сохранение общины, а сознательными усилиями народного самосознания и народной совести.

В том же тоне говорит он о нашем казачестве, нашей артели.

«Артель – лучшее доказательство того естественного безотчетного сочувствия славян с социализмом, о котором мы столько раз говорили. Артель вовсе не похожа на германский цех, она не имеет ни монополии, ни исключительных прав, она не для того собирается, чтобы мешать другим, она устроена для себя, а не против кого-либо. Артель – соединение вольных людей, одного мастерства на общий прибыток, общими силами».

«Казачество было отворенная дверь людям, не любящим покоя, ищущим движения, опасности, независимости. Оно соответствовало тому буйному началу молодечества и удали, которое рядом с мирным и добродушным нравом славян составляет их характеристику… Запорожцы были славянские витязи, витязи – мужики, странствующие рыцари черного народа…»

Все это романтизм и утопия, но эти романтические грезы взошли яркой зеленью рядом с последним откровением западной мысли – социализмом, этим протестом против хищной и жестокой частной собственности.

И общину, и артель, и казачество Герцен показывает Европе в ответ на нападки лучших ее людей. Основы нашей сельской

жизни он объединяет с основами социализма. Ему первому принадлежит мысль, что русский народ в устоях своей жизни, в голосе своей совести социалист и коммунист по преимуществу… Это единственное, что у нас есть…

«Народ русский, – резюмирует Герцен, – ничего не приобрел со времени Владимира и киевского периода; под монгольским гнетом ханов, под византийским – чиновников, под немецким – коллегий и канцелярий, под суринамским – помещиков он сохранил только свою незаметную скромную общину, т. е. владение сообща землею, равенство всех без исключения членов общины, братский раздел полей по числу работников и собственное мирское управление своими делами. Вот и все приданое Сандрильоны, зачем же отнимать последнее?…»

Народническая программа определилась: через общину, артель, воспоминания вольного казачества, коммунизм сектантов – в сознательный социализм, «выработанный» кровавой историей Запада, его мощной мыслью.

Я нарочно подробно остановился на этих взглядах Герцена, потому что они легли в основу той его знаменитой пропаганды, которую он вскоре начал сначала в «Полярной звезде», а затем в «Колоколе».

В 1853 году была основана вольная русская типография в Лондоне; в 1855 году была издана первая книга «Полярной звезды»; в 1857 году «зазвонил» «Колокол».

Но уже 10 марта 1855 года Герцен обратился со своим замечательным письмом к императору Александру П. Он писал:

«Разумеется, моя хоругвь – не Ваша, я неисправимый социалист, Вы самодержавный Император; но между Вашим знаменем и моим может быть одно общее – именно, та любовь к народу, о которой шла речь.

И во имя ее я готов принести огромную жертву. Чего не могли сделать ни долголетние преследования, ни тюрьма, ни ссылка, ни скучные скитания из страны в страну, то я готов сделать из любви к народу. Я готов ждать, стереться, говорить о другом, лишь бы у меня была живая надежда, что Вы что-нибудь сделаете для России.

Государь, дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь… нам есть что сказать миру и своим. Дайте землю крестьянам – она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братии – эти страшные следы презрения к человеку.

Отец Ваш, умирая – не бойтесь, я знаю, что говорю с сыном, –

признался, что он не успел сделать всего, что хотел, для всех своих подданных… Крепостное состояние явилось, как угрызение совести, в последнюю минуту.

Он *не успел в* тридцать лет освободить крестьян!

Торопитесь, спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить…

…Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы хотим вещей, в справедливости которых Вы так же мало сомневаетесь, как и все.

На первый случай нам и этого довольно. Быть может, на той высоте, на которой Вы стоите, окруженные туманом лести, Вы удивитесь моей дерзости, может, даже рассмеетесь над этой потерянной песчинкой из семидесяти миллионов песчинок, составляющих Ваш гранитный пьедестал.

А лучше не смеяться. Я говорю только то, о чем у нас *молчат.*

Для этого я и поставил на свободной земле первый русский станок; он, как электрометр, показывает деятельность и напряжение сгнетенной силы… Несколько капель воды, не находящие выхода, достаточны, чтоб разорвать гранитную скалу.

Государь, если эти строки дойдут до Вас, прочтите их беззлобно, одни – и подумайте потом. Вам не часто придется слышать искренний голос свободного русского.

10 марта, 1855 г.

Искандер».

Перехожу к «Колоколу».

Как всегда, первое слово принадлежит самому Герцену:

«Весной 1856 года приехал Огарев, год спустя (1 июля 1857 г.) вышел первый лист „Колокола“. Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается, журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того усваивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслью. Если же читатель начинает забывать ее, новый лист журнала, никогда не боящийся повторений, подскажет и подновит ее.

Действительно, влияние «Колокола» в один год далеко переросло «Полярную звезду». «Колокол» в России был принят ответом на потребность органа, не искаженного цензурными условиями. Горячо приветствовало нас молодое поколение, были письма, от которых слезы навертывались на глаза. Но и не одно молодое поколение поддержало нас…

«Колокол» – *власть,* говорил мне в Лондоне – horribile dictu! [37] – *Катков* и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу… И прежде его повторяли то же и Т[ургенев], и А[ксаков], и С[амарин], и К[амарин], генералы

из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В.П. (Боткин) – постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе – умильно смотрел на «Колокол», как будто он был начинен трюфелями…

Во дворце «Колокол» получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело «стрелка Кочубея», подстрелившего своего управляющего.

Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании государственного совета по крестьянскому делу.

– Кто же, – говорил он, – мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших?

На меня обрушился ливень писем и корреспонденции – из всех частей России. Всякий писал что попало, один, чтобы сорвать сердце, другой, чтобы себя уверить, что он опасный человек… Но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличение ежедневных мерзостей.

Вообще, *балласт* писем можно было разделить на письма без фактов, но с большим обилием души и красноречия, на письма с начальническим одобрением или с начальническими выговорами и, наконец, на письма с важными сообщениями из провинции.

Важные сообщения, обыкновенно писанные изящным канцелярским почерком, имели почти всегда еще более изящное предисловие, исполненное возвышенных чувств и неотразимой лести: «Вы первый открыли новую эру российского слова и, так сказать, мысли; вы с высоты лондонского амвона стали гласно клеймить людей, тиранствующих над нашим добрым народом, ибо народ наш *добрый,* вы недаром его любите. Вы не знаете, сколько сердец бьются любовью и благодарностью к вам, в дальней дали нашего отечества, от знойной Колхиды до льдов скромной Оки, Клязьмы или такой-то губернии. Мы на вас смотрим как на единственного защитника. Кто может, кроме вас, обличить изверга, по званию и месту стоящего выше закона, изверга вроде нашего председателя (казенной, уголовной, удельной палаты… имя, отчество, фамилия, чин)».

Герцен нисколько не преувеличивает влияния своего журнала. Он мог бы даже сказать гораздо больше себе во славу. Это общий голос, общее мнение и, между прочим, мнение И.С. Тургенева, которое он не раз, а много раз высказывал в своих письмах.

Влияние «Колокола» доходило до придворных сфер и оттуда спускалось по всем ступеням бюрократической лестницы.

Тургенев пишет, например, Герцену:

«Кстати, я надеюсь, что ты „Зальцмана“ поместишь в „Колоколе“, а не в „Полярной звезде“. В „Колоколе“ оно будет в тысячу раз действительнее. Кстати еще, вот тебе анекдот, который, однако, ты *не разглашай.* Актеров в Москве вздумали прижать, отнять у них их собственные деньги; они решились отправить от себя депутатом старика Щепкина искать правды у Гедеонова (молока от козла). Тот, разумеется, и слышать не хочет; «тогда, – говорит Щепкин, – остается пожаловаться „Колоколу“. Гедеонов вспыхнул и кончил тем, что деньги возвратил актерам. Вот, брат, какие штуки выкидывает твой „Колокол“.

Тот же Тургенев сообщает Герцену, что «Колокол» лежит на столе в кабинете у государя для справок по крестьянскому вопросу, и шутливо прибавляет при этом: «Вот, брат, в какие районы ты попал».

«Колоколу» жаловались, «Колокол» любили, от «Колокола» ждали той правды, которая, в конце концов, все же самое дорогое для человека. И он был на высоте своего положения. Он звонил все громче, и эти звуки, полные надежды, бодрости, звали к обновлению, к суду и осуждению всей прошлой рабской жизни, к началу новой…

«Колокол» долгое время (1857 – 62 годы) был трибуналом, а пожалуй, и совестью русского народа… Он выступал за освобождение крестьян с землею и непременное сохранение коренных начал их жизни (общины, артели, «мира»).

Девизом «Колокола» было *освобождение крестьян с землею.*

Кажется, еще и теперь многие держатся мнения, что «Колокол» был революционным органом, чем-то вроде подпольного издания с проповедью насилия и утопий. Это взгляд совершенно ошибочный, не раз уже получавший достойное и энергичное опровержение, но продолжающий держаться по рутине, а может быть, и по каким-либо другим причинам. Дело обстоит значительно проще. В первый период брожения главным являлся крестьянский вопрос. Общество было исполнено смутных тревог. Люди самых противоположных партий ждали, что этот вопрос разрешится потрясением всего общественного строя. Между тем Герцен в это время со светлым энтузиазмом приветствовал в своем «Колоколе» начинания правительства. Он доказывал, что разрешение этого вопроса правильно, то есть освобождение с наделом землей не только не может повести к революции, а еще более привяжет народ к правительству. Со всех сторон шли к нему письма, обвинявшие его в умеренности. От него ждали какой-нибудь революционной программы. Но Герцен в ответ на все эти обвинения и ожидания говорил, что поскольку

на знамени нового движения в России стоит не требование конституции, республики, парламента, муниципальной свободы, не требование войны с Австрией или завоевания Турции, а требование освобождения крестьян с землей, он бросил все и прилепился к этому движению, дабы добиться скорейшего разрешения жизненно важного для России вопроса, и в этом причина всего успеха «Колокола».

Я уже говорил о том, чем был манифест 19-го февраля для поколения сороковых годов. Герцен назвал его как-то манной небесной, живою водой, и в «звоне» его «Колокола» в это время слышится что-то торжествующее, радостное: и на этот раз жизнь не обманула, а напротив, открыла в будущем хорошие перспективы. Можно, значит, жить, работать, даже смеяться.

Популярность Герцена росла изо дня в день: только теперь он узнал славу и увидел, что его ценят по достоинству. Не прошло и года, как со всех концов России ему стали присылать всевозможные статьи и документы: следственные дела и пр. Мало того, бесчисленные туристы, между которыми были люди с очень громкими именами, являлись в Лондон. Все влекло туда: и любопытство, и желание похвалиться свиданием с Герценом, на что администрация того времени смотрела сквозь пальцы. «Колокол» почти свободно обращался в России, переходя из рук в руки.

«Русские путешественники, – рассказывает Пассек, – были в восторге от Герцена; они не могли надивиться, что такой гениальный человек так радушно принимал их, показывал им Лондон, угощал устрицами в лондонских тавернах и оживлял своим добродушным юмором, без малейшей аффектации, просто, весело, умно. Все это поражало посетителей и привлекало к нему. Некоторые относились сердечно и к Огареву, но обаяния Герцена никто не избежал…»

* * *

Входить в подробную оценку идей, выразителем которых был «Колокол», я не буду. Остановлюсь лишь на двух-трех существеннейших пунктах. Слова, которые стояли на знамени газеты: «Освобождение крестьян с землею», – задавали тон всему содержанию. Проповедуя эту истину, видя в ней не только осуществление своих заветных желаний, но и желаний всех кабальных людей Европы – все равно, в какой бы кабале они ни обретались, – Герцен забывал свою меланхолию, свой душевный разлад. С каждым днем в нем крепло убеждение, что Россия, а не

Европа, разрешит социальный вопрос, и разрешит его мирно, без красных призраков. «В революции он разуверился уже совершенно: много воды утекло с 48-го года, и возвращаться к мыслям о возможности быстрой перемены могущественного мещанского строя Герцен не хотел и не мог. Когда появились прокламации, он немедленно же осмеял их составителей. Он сравнивал их с детьми, которых восхищает террор революции, как детей – террор сказок со своими чародеями и чудовищами. При этом он категорически заявил, что давно разлюбил обе чаши, полные крови, статскую и военную, и равно не хочет пить из черепа боевых врагов, ни видеть голову герцогини Ламбаль на пике, что какая бы кровь ни текла, где-нибудь текут слезы, что французский террор всего менее возможен у нас, так как у нас нет ни новых догматов, ни кровавых катехизисов для оглашения; наша „реформация“ должна начаться с сознательного возвращения к народному благу, к началам, признанным народным смыслом и вековым обычаем». Закрепляя право каждого на землю, то есть объявляя землю тем, что она есть, то есть неотъемлемой стихией, мы только развиваем и обобщаем народное представление об отношении человека к земле. Отрекаясь от форм, чуждых народу, навязанных ему полтора века назад, мы продолжаем прерванное и нарушенное развитие посредством новой силы мысли, науки…

Затем, говоря об общине, Герцен отмечал ту важную роль, которую община могла бы сыграть при правильном развитии русских экономических народных начал, и противопоставлял ее европейскому социализму. Разрушение общины представлялось ему варварством и преступлением против истории. Слишком наученный опытом своей тяжелой жизни, он понимал, как надо дорожить всеми теми ячейками, из которых могло развиться лучшее будущее. Ничего восторженного и детски доверчивого в отношении Герцена к общине нет. Он не требовал ее сохранения в том виде, в каком она существовала, ведь жизнь – не музей редкостей и не археологическая коллекция, а думал, что община, оплодотворенная наукой, мыслью, удалит много ненужных страданий из жизни русского народа.

Отсюда простой и естественный переход к всесословной волости, такой то есть, где бы рядом, рука об руку, работали и самоуправлялись интеллигенты – безразлично, из какого класса общества, – и крестьяне.

Таковы мысли Герцена. Жизнь не поддержала их, они не осуществились. Но что делать? И кто в этом виноват? Герцен, разумеется, переоценивает живучесть общины, но в те дни такая переоценка была более чем простительна. Никто не знал и не мог

знать, что в 1861 году община была уже разрушена или, лучше сказать, уже разложилась под вековым влиянием крепостного права, что она была лишь коконом, из которого давно уже вышло живое существо. На протяжении полутора веков повсюду, особенно в центральной полосе России, «мира» не существовало, зато в избытке существовал помещичий деспотизм, который медленно, тихо, систематически разлагал общину.

В 1861 году община нуждалась не в восстановлении, а в воссоздании. Но это дело не для рук человеческих.

Этого, повторяю, Герцен не видел и не мог видеть. И все же его программа была полнее и реальнее, чем та, которая была осуществлена в действительности.

Но особенно поучительна не экономическая, а философско-историческая сторона вышеприведенной программы. С одной стороны, Герцен требует сохранения народных исторических форм жизни, с другой, – он особенно подчеркивает преимущество России перед Европой в деле социального обновления. В связи и с тем, и с другим он не раз слышал обращенное к нему прозвание «славянофил» – прозвание, во всяком случае неприятное для человека, который жил и вырос совсем в других взглядах и сам принимал горячее участие в борьбе со «славянами».

Вполне славянофилом Герцен не был никогда и не мог быть; его жизненный опыт и темперамент по необходимости делали его человеком другого лагеря. Славянофильство – ведь это тоже утопия, к тому же довольно наивная. Требовалось захотеть и вернуться назад, к старым формам жизни. Но разве захотеть так легко и разве, когда человек захотел, все так и делается по его желанию? У истории свои законы, свой ход, своя воля. Человек и его воля только элемент, и едва ли значительный, в деле созидания истории. Климат, наследственность, традиция, экономическая обстановка, его собственная инертность, будучи правильно растолкованы, могли бы значительно поубавить его гонору.

Герцен сказал однажды: «Признать, что никакого выхода нет, – тоже выход»; результатом своего жизненного опыта он называл «смирение» как преклонение перед истиной, как пожертвование самонадеянными человеческими иллюзиями. Разбирая какой-нибудь жизненный практический проект, он прежде всего ставит вопрос о его возможности или невозможности. Очевидно поэтому, что со «славянами» он должен был расходиться в существеннейшем пункте: у него не было их веры во всемогущество человека, не было веры и в то, что человек может получить откуда-нибудь могущественную постороннюю помощь.

Он разочаровался в Европе, но это не было безусловным разочарованием пессимиста. До того, чтобы заподозрить состоятельность науки, знания, он не доходит никогда. В его глазах они были и остались навсегда обновляющими силами, источниками живой воды.

«Наука, – писал он между прочим, – спасла бы Базарова, он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким, нескрываемым презрением… Наука учит нас смирению. Она не может ни на что глядеть свысока, она не знает, что такое свысока, она ничего не презирает, никогда не лжет для роли, ничего не скрывает для кокетства. Она останавливается перед фактами, как исследователь, иногда как врач, никогда как палач, еще меньше с враждебностью и иронией. Наука – любовь, как сказал Спиноза о мысли и ведении».

Эту-то любовь и призывал Герцен в Россию, чтобы обновить ее…

Но, разумеется, в первое время он поторопился взвинтить себя.

«Теперь я бешусь, – писал он, – от несправедливости узколобых публицистов, которые умеют видеть деспотизм только под 59-м градусом северной широты. Откуда и почему две разные мерки? Осмеивайте и позорьте, как хотите, петербургский абсолютизм и наше терпеливое послушание, но позорьте же и указывайте деспотизм повсюду, во всех его формах, является ли он в виде президента республики, временного правительства или национального собрания».

Непонимание и враждебность иностранцев были постоянным жалом, возбуждавшим Герцена к защите России. В пылу полемики он прибегал к натянутым аргументам и возводил в квадрат свое построение, *хотя, разумеется, верить в Россию, в ее будущность, как и в будущность каждого вообще народа,* – не грех и не преступление, а скорее наоборот. Эта вера крепит, лишь бы не превращалась она в догмат, не терпящий ни возражений, ни ограничений. Общую свою мысль Герцен выражает так:

«Мне кажется, что есть нечто в русской жизни, что выше общины и государственного могущества; это нечто трудно уловить словами, а еще труднее указать пальцем. Я говорю о той внутренней, но вполне сознательной силе, которая столь чудесно сохранила русский народ под игом турецких орд и немецкой бюрократии, под восточным татарским кнутом и под западными капральскими палками; о той внутренней силе, которая сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина под унизительным гнетом крепостного состояния, которая на царский приказ образоваться ответила через сто лет

колоссальным явлением Пушкина; о той, наконец, силе и вере в себя, которая жива и в нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русский народ, его непоколебимую веру в себя, сберегла вне всяких форм и против всяких форм; для чего?… Покажет время». И дальше: «Россия является последним народом, полным юношеских стремлений к жизни в то время, когда другие чувствуют себя усталыми и отжившими».

* * *

Как это ни странно, но момент высшего торжества, то есть 19 февраля 1861 года, был для «Колокола» началом падения. Ни один из дальнейших его проектов (например, созыв земского собора, освобождение Польши и так далее) не встретил прежнего сочувствия. Он стал хиреть, и очень быстро. Его тираж с двух тысяч упал до 500 экземпляров уже в 1863 году и больше не поднимался. Промучившись несколько лет, Герцен стал было издавать «Колокол» на французском языке, чтобы знакомить Европу с Россией. Но «французский» «Колокол» не пошел совсем. Пришлось прекратить дело.

В падении «Колокола», как мы это сейчас увидим, обвиняют обыкновенно Бакунина (отчасти и Огарева), его революционную и террористическую пропаганду (например «В топоры»), сочувствие польской революции и пр.

Это верно только отчасти. Дело же в том, что после 1861 года «Колокол» утерял свой raison d'être. Он был так тесно связан с освобождением крестьян, что с достижением этой цели его редактору и вдохновителю как публицисту стало нечего делать.

В России после 19 февраля начались реакция, революционная пропаганда и продолжались еще несколько лет умеренно либеральные реформы.

Герцен ни к одному из этих течений не мог пристать так полно, как к «крестьянскому».

Он не был революционером, не был политиком. Он был гуманистом, философом, художником. Крестьянской реформе он отдался весь; она была исполнением его детской клятвы, его «долгом перед собой». Требуя ее, он опирался на все мыслящее русское общество.

Но все это мыслящее русское общество было, строго говоря, недорослем с большой дозой хамства, робости и себялюбия в душе. Оно боялось идти дальше и вполне удовлетворялось кое-каким земством, кое-каким судом, кое-какой гласностью. Даже умереннейшая пропаганда земского собора не нравилась таким

«передовым» людям, как Тургенев, не говоря уже о Кавелине и других.

Идти дальше хотел лишь городской интеллигентный пролетариат. Но у него были свои вожди, его требования были слишком революционны для Герцена. «Молодая Россия», Чернышевский, Нечаев и другие считали Герцена отсталым, слишком мягким, слишком другом правительства.

Герцен не был отсталым. Но он не был и революционером. Поэтому он в конце концов остался один.

Еще раз: почему он не мог сойтись с эмиграцией – ни молодой, ни старой? Да просто по той причине, что его интересы и интересы всевозможных эмигрантов были в сущности совершенно различны. Он постоянно смотрел в будущее и гораздо больше видел в нем, читал в нем, чем верил в него. Он предсказал неуспех революции 1848 года, франко-германскую войну, торжество политики Бисмарка. Он был настроен на мрачный лад, и что же было делать ему среди фанатиков, ожидавших торжества своих идей, проектов, предложений чуть ли не завтра? Ему не было места между ними еще и потому, что в нем крепко сидела черта, общая почти для всех деятелей сороковых годов за исключением одного Белинского, – черта умственного аристократизма, своего рода даже пресыщения. Старое барство отзывалось в этом, и всегда с невыгодой для тех, кто был его преемником. Возьмите Тургенева и Герцена. Оба они, несмотря на весь демократизм своих убеждений, никак не могли сойтись с теми людьми, которые были плоть от плоти и кровь от крови демократии. Их коробили манеры, язык, замашки «новых людей», выступивших в России на сцену в шестидесятые годы. Они искали изящества, особенной утонченности чувств и идей и, разумеется, не находили их у деятелей, явившихся на смену их поколению. Но больше всего их мутило – и это настоящее слово – от догматизма мысли, от всего, что провозглашалось с безусловной самоуверенностью и с ненавистью к какому бы то ни было ограничению, возражению, колебанию.

В конце 1861 года в Лондон приехал друг Герцена, Бакунин, только что бежавший из Сибири через Америку, и стал работать в «Колоколе». Это тотчас же отразилось на тоне и выборе материала: газета стала красной, пожалуй, даже анархической.

«Личность Бакунина, – говорит Пассек, – была странна и замечательна: умный, начитанный, обладающий даром слова, проникнутый немецкой философией, он иногда был малодушен, как ребенок, которому хочется какого-нибудь дела: если печатать – то прокламации; если действовать, – то все везде поставить вверх дном, ничего не щадить, никогда не задаваться мыслью, что

из этого может выйти, – идти напролом».

Герцен любил Бакунина, любил его за его добродушие, беспечность, которые заслужили ему прозвание «большой Лизы», любил в нем, наконец, старобарскую широту натуры. Но он ясно видел, что делать с ним какое-нибудь дело – трудно, едва ли даже возможно. Бакунин, например, в 1848 году возбуждал рабочих против их же правительства, объехал юг Европы, проповедуя повсюду анархизм, попал в австрийскую крепость, был выдан России, сослан в Сибирь и вернулся в Лондон готовый на все, с проповедью: «В топоры!» Художник Ге рассказывает в своих воспоминаниях, что однажды на вопрос, верит ли он в то, что проповедует, Бакунин отвечал: «Не знаю, но лишь бы все это завертелось, закрутилось и потом – головой вниз…»

«Бакунин, – продолжает Пассек, – часто вредно влиял на Герцена, обыкновенно через Огарева. Он настаивал на своей программе, а эта программа скоро запугала всех и прямо противоречила тому, что раньше говорилось в „Колоколе“.

Польская струнка живее забилась в вольной русской типографии. Сначала Бакунин помещал в «Колоколе» свои статьи, но Герцен находил их крайними, боролся сколько мог и предложил Бакунину говорить с публикой через отдельные брошюры. Но с настойчивостью Бакунина справиться было нелегко и пришлось уступать все больше и больше. Приезжавшие теперь в Лондон русские, заметив «польский» дух, говорили с упреками о заступничестве за повстанцев. Герцен отвечал резко, что гуманность – его девиз, что он всегда будет на стороне слабого, что он не может ценою неправды купить сочувствия соотечественников. Это, разумеется, только подливало масла в огонь.

Как упорно старался удержать Герцен свою газету в прежнем направлении, понимая, что вмешательство в польские события только погубит ее, видно хотя бы из следующего краткого рассказа Тучковой в ее «Воспоминаниях».

«Еще до освобождения крестьян приезжали в Лондон три члена ржонда. Они приезжали затем, чтобы заручиться помощью Герцена. Увидав их, Бакунин начал было говорить о тысячах, которых Герцен и он могут направить, куда хотят. Но, слушая Бакунина, они вопросительно смотрели на Герцена, и тот сказал откровенно, что не располагает никакой материальной силой в России, но что он имеет влияние на некоторое меньшинство своим словом и искренностью. Сначала Герцен убеждал этих господ оставить все замыслы восстания, говоря, что не будет пользы: Россия-де сильна, Польше с ней не тягаться. Россия идет путем постепенного прогресса, пользуйтесь тем, что она

выработает. Ваше восстание ни к чему не приведет, только замедлит или даже повернет вспять ход развития России, а стало быть, и вашего. Передайте ржонду мои слова. В чем же может состоять сближение между нами? – продолжал Герцен. Жалея Польшу, мы не можем сочувствовать ее аристократическому направлению; освободите крестьян с землею, и у нас будет почва для сближения. Но посланные ржонда молчали или уклончиво говорили, что освобождение крестьян еще не подготовлено в Польше. Тогда Герцен возразил, что в таком случае не только русские не будут им сочувствовать, но что и польские крестьяне поймут, что им не за что подвергаться опасности, и примкнут в конце концов к русскому правительству, что позже и произошло в действительности. Так посланники и уехали обратно, не получив от Герцена никаких обещаний».

Но с одной стороны настойчивость друзей, с другой – дикие завывания охранителей заставили Герцена вмешаться, поставить на карту все и проиграть. Вскоре Бакунин совершенно погубил дело, задумав вооруженное нападение на Россию.

«Польское восстание не было еще подавлено, и Бакунин решился принять в нем участие. Это было необходимое последствие всей его многолетней пропаганды в пользу Польши. Хотя последний был в высшей степени образован, начитан, обладал большими познаниями и блестящим, находчивым умом, великолепным даром слова, но при всем том в нем была детская черта – слабость: жажда революционной деятельности во что бы то ни стало. В то время поляки везде искали возбудить к себе сочувствие. Наконец они набрали в Лондоне человек восемьдесят волонтеров из эмигрантов всех наций и наняли пароход, который должен был их высадить (не помню где), откуда волонтеры прошли бы в Польшу. Странно было то обстоятельство, что Ж., представитель ржонда в Лондоне, и польские эмигранты обратились за наймом парохода именно к той компании, которая вела крупные дела (продажа угля) с Россией. Бакунин отправился с этой экспедицией. Под предлогом, что нужно запастись водой, капитан бросил якорь у шведских берегов. Тут простояли двое суток; на третий день спросили капитана, скоро ли в путь; тогда он объявил, что далее не пойдет. Тут волонтеры подняли шум, гвалт, но ничего не могли сделать с упрямым капитаном. Бакунин отправился в Стокгольм для принесения жалобы на предательство капитана. Он слышал, что брат короля очень образованный и либеральный, и надеялся через его содействие заставить капитана продолжать путь. Однако надежды Бакунина не осуществились. Общество в Стокгольме было очень образованно, горячо сочувствовало всему либеральному. Бакунин во все время

был очень хорошо принят братом короля и чествуем обществом как русский агитатор 1848 года. Ему беспрестанно давали обеды, делали для него вечера, пили за его здоровье, радовались счастью его лицезреть, но ничего не помогли относительно капитана. Прочие эмигранты решились на отважный поступок: наняли лодки и продолжали трудный путь. Вдруг поднялась страшная буря, и эти несчастные смельчаки погибли в бесполезной борьбе с разъяренной стихией».

* * *

В бесполезной борьбе с разъяренной стихией общественного мнения погибла и деятельность Герцена. Две-три статьи о варшавских событиях – и он заслужил титул анархиста и изменника отечеству. Живая работа опять оборвалась, и уже навсегда. Оставалось одно: вспоминать о прошлом, еще раз переживать то, что когда-то так волновало и мучило, что являлось теперь в памяти преломленным, проходя сквозь призму творческого воображения. Жизнь превратилась теперь в прогулку по кладбищу, усеянному дорогими могилами надежд, упований, людей. Среди этих могил была одна, самая дорогая, самая грустная, и к ней все чаще и чаще стал обращаться Герцен. Кладбище навевало мысль о смерти скорой и неизбежной; дорогая могила – могила любимой жены – робко шептала о чем-то другом, не давая отчаянию совершенно заполонить измученную душу…

Глава XI. Последние годы

По окончании польского восстания, в 1864 году, Герцен оставил Лондон и вместе со своим семейством и Огаревыми поселился в Женеве. Туда же он перевел и свою типографию. В Женеве он жил постоянно вплоть до 1866 года.

Это были для него тяжелые годы. «Колокол» продолжал выходить, но ясно было, что его влияние – в прошлом: одни считали его слишком умеренным, другие – чересчур красным. В России наступала новая эпоха, начиналась реакция, а вместе с этим партией движения, вышедшей из массы общества, создавались кружки с исключительными целями и исключительной проповедью.

В Женеву то и дело наезжали молодые эмигранты, но между ними и Герценом было слишком мало общего не только для того, чтобы столковаться, но даже и для того, чтобы просто разговаривать!

Воспоминание об этой молодой эмиграции осталось очень тяжелым для Герцена. Он говорил о ней не иначе, как с раздражением и даже отвращением. На Герцена и Огарева эмигранты смотрели как на отсталых инвалидов, как на прошедшее. Мало-помалу они приняли покровительственный тон и стали поучать стариков, упрекать их за барство, за комфорт, за спокойную жизнь и дошли наконец до того, что обвинили их в присвоении чужих денег!

«Я не бросаю камнем в молодое поколение, – говорит Герцен, – но эти представители были представителями крайности, временный тип, переходная форма, болезнь, развившаяся из застоя… Самые простые отношения с ними были затруднительны. У них не было ни воспитания, ни научной подготовки. Конечно, все это по необходимости должно было переработаться и перемениться; жаль только, что подготовленная почва была слишком проросшею плевелами».

Но оправдывал ли Герцен «накипь брожения» или обвинял ее, ему жилось от этого не легче.

В Женеве опять стало душно, невыносимо, и под старость опять начались для Герцена годы странствований, беспокойных скитаний и тоски бездействия. Столкновения с женевской эмиграцией продолжались; Герцен сердился и жаловался; но зачем нам подымать старую пыль? Интереснее литературные предприятия Герцена. Пера он не выпускал до самой смерти; оно, как неизменный друг, не раздражало, не могло предать. В эти последние годы «Колокол» перестал выходить, потом опять был

возобновлен, издавалась «Полярная звезда», готовилось полное собрание сочинений. Обо всем этом упоминается в письмах.

Например, в январе 1868 года Герцен писал Огареву из Ниццы:

«В „Figaro“ было несколько строк о прекращении „Колокола“ и переведен весь анекдот о N.N. Заметь, ни одного русского голоса – ни даже частного. „Колокол“ умер, как Клейнмихель, „никем не оплакан“, и мы лезли из шкуры для этой милой св…».

Или:

«Журналы обыкновенно интересны. Как-то пульс старушки поднялся и даже „Голос“ буянит не в свою голову. В нем две резкие статьи. Далее, поручи Тхоржевскому достать „Revue des deux mondes“ 1-го апреля и прочти статью Мазада о России; не смотри на пошлое, шляхетски „вестовое“ окончание, – статья очень интересна. Мне теперь лафа – все уехало или уезжает и в Casino человек пять и сотня журналов. Ох, следовало бы теперь поработать где-нибудь на виду… В Париже я увидел, что вновь было бы легко поставить барку по теченью… но… частные дела, может, больше всего мешают всему».

Однако желание поработать где-нибудь на виду, на глазах большой публики осуществлялось крупицами: лишь кое-что из-под пера Герцена попало в русские журналы. Это тоже было неприятно, и неприятно главным образом потому, что чувствовалась полная невозможность возвратить прежнее… да и зачем было возвращать его?

Но хотя бы и инвалид уже или, по крайней мере, человек, приговоривший себя, Герцен не переставал энергично работать. В это время была написана большая часть его знаменитых воспоминаний «Былое и думы», этих удивительных мемуаров, полных грусти, лиризма, тоски, а подчас злобы и ненависти. Ничего подобного я не знаю даже в западной литературе, так богатой мемуарами, о русской же нечего и говорить: русские мемуары в громадном большинстве случаев – простая хроника; «Былое и думы» – настоящее художественное произведение. Читая его, вы не только знакомитесь с прошлой эпохой, но и – и, прежде всего, – с личностью автора. Лирические отступления беспрестанны и полны вдохновения; их можно сравнить с лучшими песнями изгнанника Овидия. Вас удивляет сначала, как решается Герцен так много говорить о себе, говорить постоянно, без умолку, распространяться насчет самых интимных подробностей своей жизни. Эгоизм, поднимаясь порою до высоты элегии, доходит подчас до наивности. Однако вы скоро миритесь и с этою стороною дела. Обаяние огромного пытливого ума, глубоко чувствующего и глубоко исстрадавшегося сердца, какая-

то подавленная грусть, разлитая по всем страницам, неожиданные вспышки смертельно бьющей иронии – все это неотразимо действует на вас, заставляет негодовать, смеяться, вызывает в вас тоску. Нельзя пропустить ни одной строчки. Отрывочна лишь форма, и даже эта отрывочность кажущаяся. С удивительным искусством, соблюдая гармонию целого, Герцен переходит от детской к Дубельту, оттуда ведет вас в контору Ротшильдов… Есть художественная стройность во всем этом разнообразии, и вы скоро привыкаете не удивляться, когда как будто неожиданно вам предлагают рассуждения о Прудоне… Из каждой строки бьет ключом настоящий искренний талант, из каждой строки на вас смотрят серьезные глаза измученного человека, исстрадавшегося в жизни, но не сломленного ею, не дающего сломить себя. Эта гордость силы вызывает уважение, чарует и подчиняет вас себе. Но, несмотря на свой лиризм, на свои субъективные элементы, «Былое и думы» вместе с тем прекрасный исторический документ русской жизни сороковых и западной пятидесятых годов. Герцен умеет излагать

факты и открывать в них типические черты. Такие личности, как Тюфяев, описанный им в «Тюрьме и ссылке», годятся для любой исторической картины; такие характеристики, как характеристика старика Яковлева, его брата, Химика и так далее, – подлинные исторические документы из эпохи старого барства, грандиозного административного произвола, крепостничества. Не хуже и «думы» – то изящные, как лучшие элегии, то проникнутые глубокой философской мыслью.

* * *

Приведу еще несколько отрывков из писем к Огареву.

«Фогт говорит, – писал Герцен в 1869 году, – что у меня сильное расположение к диабету и покамест рекомендовал пить натуральный спрудель в Люцерне, а через две недели опять ехать в Берн. Вообще мне теперь лучше; но все-таки нездоровится».

«Тата приехала со мной».

«…Здесь Ауэрбах с женой, они недавно из России и были в Веве. Бакунин совершенно принадлежит к партии Элпидина и с ним в кошонной дружбе».

«…Саго mio[38] – нам пора в отставку и приняться за что-нибудь другое – за большие сочинения или за длинную старость!»

Герцен упоминает здесь о начавшейся у него болезни – диабете – которая, осложнившись воспалением легких, и свела его в могилу 9/21 января 1870 года. Он умер в Париже,

скитальцем, как всегда, и похоронен по его желанию в Ницце.

Глава XII. Заключение

Судьба щедро наделила Герцена умом, талантом, материальными средствами, и вместе с тем его жизнь не может быть названа счастливой. Нельзя не верить его искренности, когда он говорит, например, в «Былом и думах»:

«Разочарование, усталь, Blasiertheit[39]», – сказали бы о моих выболевших строках демократические рецензенты. Да, разочарование! Да, усталь! Разочарование – слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязания на все, силы – ни на что. Давно надоели нам все эти высшие неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия в жизни и романах. Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-нибудь истинного, особенно принадлежащего нашему времени на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и пошлый маскарад…»

Вступая в жизнь, Герцен мог рассчитывать на лучшую участь. Суровость, с какою с ним поступали в юности, обидела эту властную, гордую натуру, и он дал себе клятву не мириться никогда. Роковой шаг эмиграции всю жизнь тяготел над ним своими тяжелыми последствиями. Герцену пришлось скитаться всю жизнь; как Байрон, он не нашел нигде покоя. Швейцария опротивела ему своим мелким расчетливым мещанством, Англия – своим крупным мещанством, Франция – своей трусливой покорностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграции, вернуться в Россию он не мог, не хотелось – да и к чему бы это повело? Бросая его из угла в угол, из страны в страну, из города в город, эмиграция окружала его всегда чуждым обществом; или, лучше сказать, это общество было его только наполовину. С эмигрантами других стран он не мог чувствовать никакой кровной связи; свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чем радости… А тут еще семейная неурядица – постоянная, мучительная, которой я, по весьма понятным причинам, лишь слегка коснулся в очерке.

Терпеть, не жаловаться? Но у Герцена натура была не такова. Его злоба, раздражение, грусть неотразимо просились наружу, как у Байрона и у всех людей того же гордого типа. И Герцен, и Байрон могли писать *только о себе;* своими насмешками над врагами, своими жалобами на свою долю они наполняли целые страницы, целые тома. Русский изгнанник чувствовал, что он сродни великому английскому поэту.

«Байрон, – пишет Герцен, – нашедший слово и голос для

своего разочарования и своей устали, был слишком горд, чтобы притворяться, чтобы страдать для рукоплесканий; напротив, он часто горькую мысль свою высказывал с таким юмором, что добрые люди помирали со смеху. Разочарование Байрона больше, чем каприз, больше, нежели личное настроение. Байрон сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требования его были ложны, а потому, что Англия и Байрон были двух разных возрастов, двух разных воспитаний и встретились именно в ту эпоху, в которую туман рассеялся». «Разрыв, который Байрон чувствовал как поэт и гений сорок лет тому назад, после ряда новых испытаний, после грязного перехода с 1830–1848 г. и гнусного с 48 до сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем, куда деться, куда приклонить голову».

Перед нами – истинная трагедия: гений среди пошлости, рыцарь среди мещан.

Рыцарь… вот слово, которое в моих глазах наиболее полно выражает духовный облик Герцена. Рыцарь вплоть до недостатков. Рыцарь и могучий скептический ум.

Прежде и больше всего искал он в жизни благородства и свободы. Прежде и больше всего боролся он с пошлостью и рабством человека. Все это слишком велико, огромно, чтобы сказать: «Человек достиг своей цели»; все это слишком велико и ценно, чтобы не торжествовать, не радоваться при виде таких людей и таких стремлений.

Он не был ни чистым художником, ни чистым публицистом (с программой по параграфам, с пристальным вниманием к мелочам, с жаждой практической деятельности и пр.). Он был художником-публицистом и публицистом-художником, хранящим в душе «утопию» полной, абсолютной свободы человеческой жизни и личности.

Белинский сравнивает его с Вольтером. Это сравнение – ценно.

Получив для своего альманаха интермедию к роману «Кто виноват?», Белинский писал Боткину: «Я из нее окончательно убедился, что Герцен – большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Он не поэт – об этом смешно и толковать, – но ведь и Вольтер не был поэт не только в „Генриаде“, но и в „Кандиде“, однако его „Кандид“ потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие невеликие он уже пережил и еще переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, и потому в своих творениях как поэты они страшно, огромно умны, а как люди ограниченны и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). *У Герцена как у натуры по*

преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот, чувства ушли в ум, осердеченный и согретый гуманистическим направлением, не привитым, не выезженным, а присущим его натуре. У него страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку».

Да, это был огромный ум.

Его способность провидения приводит в положительное изумление даже покойного Страхова, и это совершенно понятно. Надо перенестись в обстановку шестидесятых годов, припомнить эту сумятицу международных отношений, обаяние Наполеона III, никому не видный и незаметный рост Пруссии, чтобы по достоинству оценить проникновенные слова: «Теперь, граф Бисмарк, ваше дело», в которых высказан смертный приговор второй империи.

Но в то же время это чисто русский ум, несмотря на полунемецкое происхождение Герцена, – ум, не знающий пределов в своей скептической деятельности, стоящий настороже против всякой иллюзии, вдохновенно работающий лишь при посредстве совести. Это ум без традиций, без исторических догматов, без тени предрассудков и самообольщения, подавленный своим могуществом, органической невозможностью остановиться на чем-нибудь положительном в окружающей жизни.[40]

Рядом с этим во всем, что вышло из-под пера Герцена, вы чувствуете какое-то благородство, даже аристократизм пожалуй, которые производят на вас сильное и серьезное впечатление. Вы не можете не заметить совершенно инстинктивной и невольной боязни общих мест, избитых фраз, всяческой банальности. Он говорит только о том, что глубоко затронуло его, и умеет передать вам глубину своего настроения. Это благородство стиля совсем не похожее на французское, за которым может скрываться плачевная пустота, и даже гораздо большее, чем порядочность; это своеобразное рыцарство духа, органически отвращающееся от всего пошлого и низменного, тем более низкого; это высшая красота огромного ума, которая не нуждается ни в каком крикливом наряде, ни в каких побрякушках, ни в какой вычурности. Мы должны всмотреться в нее, чтобы оценить всю почти сверхчеловеческую правильность форм и линий, чтобы почувствовать у себя в душе отражение этой гармонии. Оттого-то, быть может, Герцен и пользовался так осторожно своей иронией, оттого-то его озлобление и разрешалось всегда раздумьем. Да, благородство, сдержанность, еще лучше английское reserve – это слова, которые удачнее других характеризуют стиль Герцена. И здесь, конечно, рыцарский стиль только отражает рыцарский

дух… Я напомню известный рассказ о пребывании Гарибальди в Лондоне, когда министры мещанской Англии постарались внушить знаменитому революционеру, что его драгоценное здоровье очень расстроено, что, конечно, они в восторге от лестного его пребывания в портах острова, но опасаются, как бы сырой климат не повредил, и так далее. Надо перечесть этот рассказ, надо вникнуть в этот тон сдержанного негодования, чтобы понять, с какой силой ненавидел и презирал Герцен эти экивоки, это лицемерие, эту дипломатическую ложь. Быть открытым и откровенным все время и до конца – было девизом его жизни. Он не задумался порвать с Грановским на долгие годы, после того как тот, в значительной степени обмосковившийся, попросил, и притом резко и раздражительно, не затрагивать некоторых вопросов. Герцен сразу понял, что произошло во время этой маленькой сцены, понял, что образовавшейся трещины не заполнить ни дружескими словами, ни визитами. Благородная прямота – лучшее украшение его характера, и лучшее же украшение – его стиль.

Стиль этот порою, благодаря изумительному сочетанию раздумья и иронии, капризов чувства и глубокой прозрачной мысли, достигает неожиданных и даже грандиозных эффектов. Казалось бы, как легко затеряться в этом ряду фраз, периодов, так мало связанных между собою и проникнутых таким разнообразным настроением. Но в том-то и заключается могущество таланта Герцена, что он, благодаря какой-нибудь дюжине слов, заставляет вас, и не поверхностно как-нибудь, а действительно глубоко, пережить целую гамму чувств, вызывая их иногда одними эпитетами и намеками. Когда вы встречаете подобную страницу, вы видите ясно, что она может принадлежать только великому писателю и мало того – человеку, который многое испытал и многое перечувствовал, – человеку, который имел полное право сказать о себе: «Жизнь учит нас годами лишений, мук и горя…» Еще одно замечание: такой стиль, как у Герцена, очевидно, может принадлежать только действительно глубокому человеку, способному глубоко любить, глубоко ненавидеть и глубоко негодовать. И конечно, негодование Герцена особенно сильно в тех случаях, когда насилие или лицемерие затрагивали то, что он считал святая святых нашей жизни – свободу человеческой личности. Малейшее посягательство на нее бросало его в дрожь, и эта дрожь всего существа писателя отчетливо слышна в его слоге. В последних своих произведениях Герцен достигает мощи Байрона. Та же тоска и тот же сарказм в его фразе, те же печаль, любовь и негодование в его настроении, та же грусть на гордой и холодной

высоте одиночества, та же милая детская улыбка рядом со словом проклятия и неверия. И тот же стиль, всегда свободный и могучий, несмотря на уныние, близкое к отчаянию…

* * *

Возвращаюсь к тому, что он был рыцарем. Вы знаете, как ненавидел он европейское мещанство за его мелочность, продажность, за трусость и лицемерие его мысли. Он хотел жизни, основанной на свободе и правде. Героизм неотразимо влек его к себе, и истинным *человеком* в его глазах был Гарибальди. Художественной мечтой своей он уходил в первые века христианства – этот величайший для него момент в жизни человечества, когда старый развращенный мир уступил место новому, и уступил так, что «из старого в новое нельзя было взять с собой уже *ничего*».

В России выше, больше всех он ценил декабристов. Их знаменитую характеристику вы найдете в статье Герцена «La conspiration russe de 1825» и отчасти в четвертом номере «Колокола» (по поводу книги барона Корфа).

Эпически восторженно рассказывает он о декабрьских днях, о Пестеле и Рылееве.

«В нравственном отношении, – пишет он, – влияние событий 14-го декабря было огромно. Пушки на Исакиевской площади разбудили целое поколение…

Декабристы… не слишком-то рассчитывали на успех; но зато они понимали все великое значение протеста. 13-го декабря совсем еще молодой человек поэт Одоевский, обнимая своих друзей, говорил с энтузиазмом: «Мы идем на смерть… но на какую славную смерть!..»

Когда Рылеев был приведен в суд, он заявил: «Я мог бы все остановить, но я, наоборот, лишь побуждал действовать. Я – главный виновник событий 14-го декабря. Если кто-нибудь заслуживает смерти за этот день, то это, конечно – я»… Этот геройский ответ третируется в донесении следственной комиссии как простое признание в виновности».

Рыцарство, романтизм Герцена особенно ярко выражаются в его учении о личности.[41] Здесь он доходил до полного теоретического анархизма, но с ограничением – жалостью и совестью.

В статье «Omnia mecum porto» Герцен резко ставит вопрос об отношениях личности и общества. Это блестящая аргументация, согретая страстью, вдохновленная негодованием и протестом.

Основной ее мотив: «Какие мы дети, какие мы еще рабы, и как весь центр тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности – вне нас!» – тоска и разочарованность…

Он видит, как все в окружающей его жизни идет против свободного человека. Он не делает особенного различия между идеями государственного единства, мещанским строем жизни, дуализмом религии, косностью человеческих масс. И то, и другое, и третье в его глазах есть одинаково то, что нужно преодолеть. Он высказывается за сильную личность, яркую индивидуальность; он весь на пути к анархии, конечно – не к анархии, вооруженной бомбами и топорами, а к той, которая ищет для человека опоры только *внутри* его.

«Масса, – говорит он, – хороша только как безличная, и развитие самобытной личности составляет всю прелесть, до которой дорабатывается все свободное, талантливое, сильное».

«Что касается до качественного преимущества, я его вполне отдаю сильным личностям. Для меня Аристотель представляет не только сосредоточенную силу эпохи, но еще гораздо больше…»

Он спокойно принимает упреки в аристократизме, хотя в нем и нет никакого пренебрежения к массам. Он признает даже, что общие симпатии масс почти всегда верны, как верен инстинкт животных. Но -

«Не забывайте, – продолжает он устами Крупова, – что человек любит подчиняться; он ищет всегда к чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спрятаться, в нем нет гордой самобытности хищного зверя. Он рос в повиновении семейном, племенном; чем сложнее и круче связывался узел общественной жизни, тем в большее рабство впадали люди. Они были подавлены религией, которая теснила их за их трусость; старейшинами, которые теснили, основываясь на привычке. Ни один зверь, кроме пород, развращенных человеком – как называл домашних животных Байрон – не вынес бы этих человеческих отношений… Человек вносит в дико-независимый и самобытный мир животных элемент верноподданничества, элемент каннибала…»

Наконец, он доходит до «самой прочной цепи из всех, которыми человек скован». Эта цепь в его глазах самая прочная потому, что «человек или не чувствует ее насилия, или, еще хуже, признает ее безусловно справедливой». Он говорит:

«Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее – продолжение человеческих жертвоприношений, заклание агнца для примирения Бога, распятие невинного за виновных… Религии основывали нравственность на покорности, т. е. на добровольном рабстве, потому они и были всегда вреднее политического

устройства. Там было насилие, здесь – разврат воли. Покорность значит с тем вместе перенесение всей самобытности лица на всеобщие, безличные сферы, от него независимые. Христианство признавало, с одной стороны, бесконечное достоинство лица как будто для того, чтобы еще торжественнее погубить его перед искуплением, церковью, отцом небесным. Его воззрение проникло в нравы, оно выработалось в целую систему нравственной неволи, в целую искаженную диалектику, чрезвычайно последовательную себе. Мир, становясь более светским или, лучше сказать, приметив наконец, что он в сущности такой же светский, каким был, примешал свои элементы в христианское нравоучение, но основы остались те же. *Лицо,* истинная, действительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятию, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Для кого работали, кому жертвовали, кто пользовался, кого освобождали, уступая свободу лица, об этом никто не спрашивал. Все жертвовали (по крайней мере, на словах) самих себя и друг друга».

Он связывает нравственную неволю человека с дуализмом, «которым проникнуты все наши суждения».

«Дуализм – это христианство, возведенное в логику, христианство, освобожденное от предания и мистицизма. Главный прием его состоит в том, чтобы разделять на мнимые противоположности то, что действительно нераздельно, например, тело и дух…»

«Так, как Христос, искупая род человеческий, попирает плоть, так в дуализме идеализм берет сторону одной тени против другой, отдавая предпочтение духу над веществом, роду над неделимым, жертвуя таким образом человека государству, государство – человеку…»

«Вообразите теперь весь хаос, вносимый в совесть и ум людей, которые с детских лет ничего другого не слыхали… Наш язык – язык дуализма, наше воображение не имеет других образов, других метафор».

«Само собою разумеется, что вся наша нравственность вышла из того же начала. Нравственность эта требовала постоянной жертвы, беспрерывного подвига, беспрерывного самоотвержения. Оттого-то, по большей части, правила ее и не исполнялись никогда… Христианство, разделяя человека на какой-то идеал и на какого-то скота, сбило его понятия; не находя выхода из борьбы совести с желаниями, он так привык к лицемерию, часто откровенному, что противоположность слова с делом его нисколько не возмущает».

«Таким образом составилась условная нравственность,

условный язык; им мы передаем веру в ложных богов нашим детям, обманываем их так, как нас обманывали родители, и так, как наши дети будут обманывать своих – до тех пор, пока переворот не покончит со всем этим миром лжи и притворства».

«Ложь эта не только вредна, но унизительна, она оскорбляет чувство собственного достоинства, развращает поведение; надобно иметь силу характера говорить и делать одно и то же; и вот почему люди должны признаваться на словах в том, в чем признаются ежедневно жизнью…»

Он зовет к откровенности, к пересмотру понятий, к переоценке ценностей… Он уже не в силах выносить равнодушно эту вечную риторику патриотических и филантропических разглагольствований, не имеющих никакого влияния на жизнь. Он берет под свою защиту эгоизм и индивидуализм, хотя моралисты и считают их «дурной привычкой».

«Разумеется, люди – эгоисты, – говорит он, – потому что они – лица. Как же быть самим собою, не имея резкого сознания своей личности! Лишить человека этого сознания – значит распустить его, сделать существом пресным, стертым, бесхарактерным. Мы эгоисты и потому добиваемся независимости, благосостояния, признания своих прав, потому жаждем любви, ищем деятельности… и не можем отказывать без явного противоречия в тех же правах другим…»

«Всего меньше эгоизма у рабов», – решительно добавляет он. Разбирая заповедь «любить не только всех, но преимущественно своих врагов», он находит, что это правило – пустое. «За что же любить врагов? – спрашивает он. – Или, если они так любезны, за что же быть с ними во вражде?…»

«Как существо общежительное человек стремится любить, и на это ему вовсе не нужно приказа. Ненавидеть себя совсем не нужно, – пишет он в заключение. – Моралисты считают всякое нравственное действие до того противным натуре человека, что ставят в великое достоинство всякий добрый поступок, и потому-то они братство вменяют в обязанность, как соблюдение постов, как умерщвление плоти. Последняя форма религии рабства основана на раздвоении общества и человека, на их мнимой вражде. До тех пор, пока, с одной стороны, будет Архангел-Братство, а с другой, – Люцифер-Эгоизм, будет правительство, чтобы их мирить и держать в узде; будут судьи, чтобы карать, палачи, чтобы казнить, церковь, чтобы молить о прощении, и комиссар полиции, чтобы сажать в тюрьму».

Это и есть тот теоретический анархизм, который многими своими положениями перешел в «нигилистику» шестидесятых годов, в статьи и речи Бакунина, особенно в учение кн.

Кропоткина, с которым так охотно сближает себя последнее время Л.Н. Толстой. Правда, Герцен написал эти строки в годы тяжелого разочарования (1849–1851), когда ему казалось, что дело свободы окончательно проиграно в Европе, когда его герой Крупов находил, что на самом деле лучше быть зверем, чем человеком второй половины XIX века, когда Наполеон пробирался уже в императоры. Но и до конца Герцен считал эти строки лучшими из написанных им.

Необходимость отделения человека от официальной жизни своего народа, признания за личностью ее религиозной, нравственной и даже политической автономии резко и решительно запечатлена на этих страницах. Действительно свободный человек создает свою нравственность, учит Герцен. Он пришел к этому через романтизм, естествознание и Фейербаха, через упорную критику окружающего. Он остался при себе и при вере в науку.

Идея освобожденной личности дошла до анархии и до атеизма. Вера в Бога и в бессмертие души так же стерлась, как вера в официальную Россию, ее кнут, полицию, крепостное право. Западная, революционная, рационалистическая и личная мысль вошла в плоть и кровь человека.

Конечно, очень и очень немногие западники зашли так же далеко, как Герцен. Большинство их остановилось на мечтах об уничтожении крепостного права, о свободе науки и просвещения, о кое-каких гарантиях личности и обществу от произвола.

Сам Герцен, увлеченный приближением эпохи великих реформ, стал *народником.*

Кем же был он в конце концов – этот таинственный человек и странный незнакомец русской жизни?

Он был, думаю, идеалист и романтик. Он преувеличивал силы людей и их увлечения, вызванные высокими чувствами. Он думал, что достаточно одного мгновения, чтобы переродить нашу землю и избавить ееот зла, несправедливости и насилия, – и здесь-то жизнь нанесла самые сильные и жестокие удары его сердцу… Грозная и неожиданная восстала перед ним историческая действительность, стихийный ход ее развития, и он должен был признать ее могущество, но, и признав его, он продолжал видеть в ней врага. Отсюда его разочарованность и усталь, его проклятия по адресу исторического хода вещей…

«…Кто-то, – говорит он, – обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти, как по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития, пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль – это

заключение, все начинается тупостью новорожденного, возможность и стремление лежат в нем, но прежде, чем он дойдет до развития и сознания, он подвергается ряду внутренних и внешних влияний, отклонений, остановок…»

«Сознание бессилия идеи, отсутствие обязательной силы истины над действительным миром – огорчает нас. Мы скорбим, болеем. Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется, ее почти нет в Новом Свете – Соединенных Штатах».

«Но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы – его похмелье, мы – его боли родов».

«Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на грудах трупов – ей все равно, она продолжает свое, или так продолжает, что попало – десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили прогрессу… Чему-нибудь послужим и мы… Войти в будущее как элемент не значит еще, что будущее исполнит наши идеалы».

«Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная западная мысль воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место так же, как тело наше войдет в состав травы, людей. Нам не нравится это бессмертие, что же с ним делать?…»

Он, идеалист, дошел – и, конечно, слишком скоро, слишком поспешно и, повторяю, слишком странно – до бессилия идеи. Это не его ошибка, это ошибка целого поколения, выросшего на грезах романтики. Он не знал, что кроме идей, которым гордые люди предназначили роль руководительниц истории и жизни, ее законодателей – идей высоких и славных, стремящихся свернуть действительность с ее пути, – есть другие, более скромные, но и более могущественные зато… Эти идеи проникнуты сознанием, что только сила побеждает в жизни, что свою силу они могут взять только из действительности и соответствия с ней, с ходом ее развития, с ее необходимыми итогами, которые – все равно, хотим ли мы этого или не хотим, – она вносит, хотя бы кровавыми цифрами, в приходо-расходную книгу человечества…

«Теперь, граф Бисмарк, ваше дело»… Это стон и крик души человека, выросшего на грезах и утопиях, это отчаяние

художника, которому кто-то грубый и невежественный испортил чудную картину, нарисованную воображением, раскрашенную дивными красками горячего и благородного чувства… И он, художник, ушел сам в себя, обиженный и оскорбленный, ушел и потому еще, что история не исполнила его «святого каприза».

Есть много драм в жизни человека, есть много драматических коллизий, но и эта *драма столкновения страстной мечты с суровой и безличной историей – не меньше других.*

Кто же для кого, в конце концов? История для человека или человек для истории и ее неведомых и, может быть, совсем несуществующих целей?… Неужели вся наша работа, наши мечты и наши стремления – простая иллюзия, прихотливая игра стихийных сил природы на поверхности земного шара?

Он склонился к последнему ответу в минуты тяжелого раздумья, когда остался почти один в жизни, один среди людей, истомленный работой неверующего духа.

Он говорил: «Мы знаем, как природа распоряжается личностями: после, прежде, без жертв, на грудах трупов – ей все равно, она продолжает свое, или так продолжает, что попало…»

Ему страшно было написать такие слова, потому что святая святых его настроения, его романтического чувства, его миросозерцания заключалась в слове «человек».

Но – он их написал, закончив пессимистическим аккордом свою торжествующую песнь свободы, героизма и правды.

notes

Примечания

1

Шушка – домашнее имя Герцена.

совершенный *(фр.)*.

вольнодумцы *(фр.)*.

видимость приличия *(фр.)*.

умение вести себя *(фр.)*.

гражданин Бушо *(фр.)*.

днем и ночью; непрерывно *(лат.)*.

«Идеалистическое учение» *(нем.)*.

на четырех плодах *(фр.)*.

речное перевозное судно; большая плоскодонная лодка *(Словарь В.Даля)*.

11

De l’approbativité (психолог.) – тенденция соглашаться с любым мнением *(фр.)*.

как нужно, как необходимо, исправно *(фр.)*.

как днем (ит.).

14

Semper in motu – вечно в движении, всегда в действии *(лат.)*.

пощады для самого себя *(фр.)*.

душевному состоянию *(от нем. Gemüt)*.

«Сущность христианства» *(нем.)*.

18

Полотно, картина *(фр.)*.

нечто странное, чрезвычайное *(фр.)*.

20

Это был старший брат Ивана Алексеевича Яковлева; будущая жена Герцена, Наталья Александровна, – одна из его незаконных дочерей, следовательно, сестра Химика.

частным образом *(лат.)*.

убийц и грабителей *(фр.)*.

доносчиков *(фр.)*.

с места на место, из города в город *(нем.)*.

25

Святой Боже

северный ветер.

приливы и отливы *(ит.)*.

28

Социальный вопрос есть вопрос хлеба насущного *(нем.)*.

римский народ *(лат.)*.

30

Я Дав, а не Эдип *(лат.)*.

сразу, *не задумываясь (фр.)*.

благо народа *(лат.)*.

каждый для себя *(фр.)*.

повестка дня *(фр.)*.

35

Так будем же веселиться *(лат.)*.

36

Так будем же молчать *(лат.)*.

страшно сказать *(лат.)*.

38

Дорогой мой *(ит.)*.

пресыщенность, разочарованность *(нем.)*.

40

См. мои «Очерки по русской литературе XIX в.», стр. 151.

41

См. мой «Опыт философии русской литературы», гл. III.